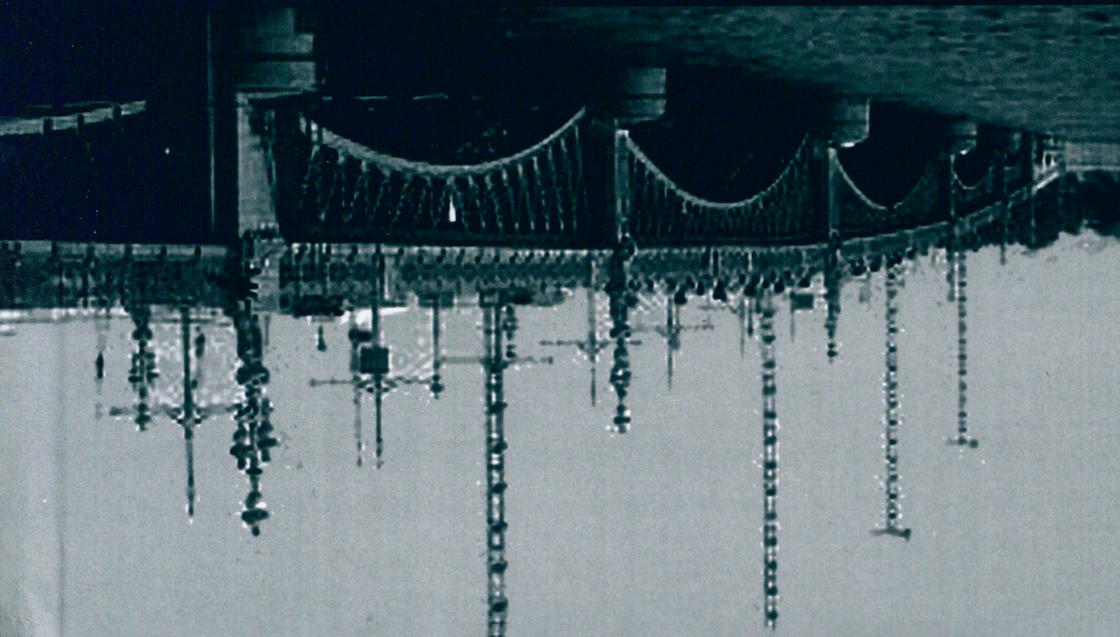




Елена Кассель

Место Жизни



Елена Кассель

МЕСТО
ЖИЗНИ

Стихи в тексте Василия Бетаки

Одесса
Издатель Бондаренко М. А.
2019

УДК 84(4Укр)-51я44
К 28

Кассель Елена

**К 28 Место жизни : стихи в тексте Василя Бетаки /
Елена Кассель. — Одесса: Бондаренко М. А,
2019. — 238 с.**

ISBN 978-617-7829-14-9

УДК 84(4Укр)-51я44

ISBN 978-617-7829-14-9

● Кассель Елена, 2019

Я брела по городу и думала, насколько же Париж не похож на Питер.

Люди вечно ищут сходство – вот литьё балконных решёток – надо же, и тут решётки. Или «пять углов», они в Париже, если и не каждом перекрёстке, так через один. И питерцы радуются старым знакомцам.

Жёсткий резкий негибачаемый Питер. Правильные черты, трагическая кованая красота. Неподвижные на коленях руки. И отчаянный крик буксира в середине реки.

И Париж – расхлюстанный, в развевающемся шарфе, с изменчивой, то растянувшейся в улыбке, то скорчившей гримасу мордой. Красиво, некрасиво? А какая разница, когда обаяние и живость хлещут через край.

Питер в своей музейной ансамблевости – тронуть нельзя. И Париж – в горошек, в крапинку, –бросай около романской церкви безумный фонтан Стравинского, где живая овчарка в туче брызг носится за вертящейся синей шляпой, и хлещет вода из башки Петрушки. Тут же Бобур в красных и синих трубах – Нотр Дам выхлопной трубы – и его закидывай сюда же. И полосатые столбики в саду Пале Ройяля.

А почему бы нет – химеры – они же тоже отсюда – из карнавала, из бахтинского «материально-телесного низа». Вон у Васьки – *«черти с мужиками, и свиньи хари – добрым людям на страх, в Нотр-Дам химеры – матерящийся камень...Славное кощунство есть в готических церквах!»*

Я шла и пыталась найти корень этой парижско-питерской разницы – и меня осенило – Питер – город – город в единой жёсткости, в «тяжёло-звонком скаканье», а Париж – да какой это город – это компания деревень, трущихся друг о друга тёплыми боками.

В каждой своя ярмарка, своя круглая маленькая площадь, свои рыночки на узких кривых улицах, и устричные прилавки с сияющими лимонами, и столики с треплющимися на ветру, прижатыми тяжёлыми железзяками клетчатými скатёрками, и газовые обогреватели у стен кафе, и жаровни, и платаны, каштаны, катальпы.

Эта лёгкая весёлая деревенскость – парижская основа.

До сих пор, попадая в какой-нибудь малознакомый район, радуюсь вдруг выскочившей из-за угла площади, в середине фонтан под деревьями, столики на тротуаре, незнакомая сырная или винная лавка...

14 марта 2009 года

Сегодня исполнилось 30 лет со дня, когда я уехала из России. Из города, который тогда назывался Ленинградом. (Из Живого Журнала)

По НТВ была передача про ОВИР и в ней показали мою визу выездную обыкновенную, которая с моего разрешения давно висит в Википедии. Двое моих друзей эту передачу видели,

мне о ней сообщили, и один из них прислал мне запись.

Только что я наконец удосужилась посмотреть. Основное впечатление, – ведущие родом с Луны, а может, из другой галактики.

Отчасти, конечно, это интонационное – каждый раз, когда у кого-нибудь в гостях мне случается краем глаза глянуть в российскую телепередачу, у меня создаётся впечатление, что мы говорим на разных языках – и дело не в словаре, дело в интонациях. Ну, а по сути – передача про ОВИР – отличный образец того, как можно ничего не сказать – вроде бы, не соврать, но и не сказать правды.

Эта передача и книжка Льва Лосева «Менандр» подтолкнули меня к тому, чтоб всё-таки попытаться связно повспоминать.

Человек в значительной степени состоит из памяти – душа – такая то ли картинная галерея, то ли кинематограф. Есть картинки ясные, чёткие, их можно даже соединить логически, они складываются в дырявый пазл и занимают там своё место, есть смазанные, плывущие, в которые до конца не проникнуть, воспоминание спотыкается.

Некоторые всплывают со дна очень часто, причём иногда это очень странные картинки, вроде бы лишённые особенного содержания, но почему-то они остались, а другие, похожие, нет.

Я много раз думала, что неплохо бы написать о том, как мы уезжали, – мы, как среднестатистическая единица – в толпе многих других, которых объединяло то, что для них Советский Союз, тысячелетний рейх на глиняных ногах, открыл дыру в заборе. В эту дыру медленно тёк поток людей, у которых в пятом пункте было написано, что они евреи, или у их жён-мужей было это написано, или были они неофициальные художники – почётные евреи семидесятых годов.

Некоторых художников попросту вызывали в Большой дом и предлагали подать заявление об эмиграции, тогда именуемой отъездом. Приглашения в Израиль, для отъезда формально необходимые, ГБ для них организовывало.

По Питеру ходила история о том, как сибиряк Арефьев пришёл в ОВИР и сообщил, что он, знаете ли, еврей. Возражений не последовало, – в качестве еврея его с удовольствием выпустили – пинком под зад. И через короткое время Арефьев оказался в Париже.

77-ой – 78-ой гг.

Вот имена, которые я помню с тех пор: Михнов, Махов, Галецкий, Целков, Гоосс, Кубасов, Жарких, Арефьев, Рапопорт, Белкин, Окунь, Овчинников, Рабин.

У меня патологическое неумение запоминать числа – даты, зарплаты, цены, кроме тех, что я помню с детства – батон за 13, хала за 22, масло за 3.60.

Так что время я могу определить только очень приблизительно: с 1974-го по 1978-ой. В начале 79-го мы уехали.

Первая выставка, на которую я попала, происходила в квартире Кости Кузьминского на бульваре Профсоюзов. Кузьминский был в Питере одним из столпов второй культуры – поэт, весёлый эпатажник, всех знал, всюду бывал. И вот выставку организовал.

Кстати, говорили ли в Москве «вторая культура»? Первая – официальная, вторая – самиздатская.

Выставка продержалась, кажется, с неделю. Потом пришёл милиционер и сообщил, что соседи жалуются – посетители громко топчут по лестнице.

Помню – изящные рисунки Юры Галецкого – слегка стилизованные под японские рисунки тушью. И на каждом рисунке тескт. Хокку – перевод или стилизация.

Ещё помню поп-арт Жени Рухина. Рухин через несколько лет после той выставки сгорел в собственной мастерской. Шли разговоры, что его подожгло ГБ, но такие разговоры всегда идут. Вполне вероятно, что сгорел спьяну.

Кузьминский тоже представил несколько работ – чего-то такое прибитое к холсту. К тому же и сам он определённо был экспонатом – лежал на продавленном диване с котом на голой груди.

В середине 70-ых выставки неофициального искусства артезианскими колодцами забили из-под земли. Часть этих выставок были вполне официальными, часть квартирными. Официальные устраивались в домах культуры.

Первая официальная выставка – в доме культуры Газа на Охте. Очередищи...

Помню оттуда огромное полотно Арефьева «Обстригатель ногтя» – несколько кубистический мужичище сидит на полу и, согнувшись, отстригает ноготь на ноге.

И главное – картины Гоосса. Темноватые, в духе старых мастеров, но с гротеском. Изумительный портрет в старинной шляпе. Пёстрый петух.

Благородные полотна. В том же отношении к старой живописи, как «Соната в старинном духе» Шнитке к старой музыке.

Оторваться не могла. Когда я рассказала про художника Гоосса маме, работавшей бухгалтером в Мариинке, она сказала, что есть у них оркестрант Гоосс. Фамилия редкая, может, родственник. Оказалось, что музыкант художнику дядя. Так мы познакомились с Володей Гооссом и с его женой Людой.

Жили они очень далеко на питерской окраине – автобусом от метро «Дачное».

Люда стояла где-то у начала движения «все – в кочегарки», а Володя тихо работал дома.

Художники тогда как раз начинали продавать картины иностранцам и на этом сносно зарабатывать. У Володи что-то купил Артур Миллер.

Володя Гоосс был в стороне от художнической тусовки – высокой власти не было до него дела, зато им заинтересовался местный участковый. На дальней рабочей окраине, где жили Володя с Людой, не было больше художников. И милиционера крайне раздражало, что есть у него в районе некий неработающий элемент, объявляющий себя живописцем.

Однажды вечером нам позвонила Люда и сообщила, что Володю взяли на улице и шьют наркотики.

Я не помню уже всех деталей этой истории. Помню страх – у ребят лежала перепечатка «Скотского хутора», сделанная на нашей машинке. Машинки отыскивали, как не фиг делать. Потом оказалось, что чуть ли не накануне Люда вынесла «Скотский хутор» из дома – дала почитать знакомым.

Дело было не ГБ-шное, чисто милицейское мелкое дело.

Судыха – советская тётка, корпулентная, в синем костюме, была честная – в меру своего крошечного разума – она сняла обвинение в распространении наркотиков.

История была шита белыми нитками – марихуану явно подсунули в карман. Были две подосланные девки, которые утверждали, что Володя им предлагал покурить травку, но они не могли связно и непротиворечиво рассказать, когда и при каких обстоятельствах. Был ещё некий свидетель, который всячески отрицал, что имеет какое бы то ни было отношение к милиции, или к народной дружине, но почему-то запутался в объяснениях, когда судыха заинтересовалась тем, откуда у него в кармане взялся свисток, в который он засвистел, почуввав в Гооссе подозрительный элемент. Получалось из его объяснений, что свисток затерялся в кармане с лета, с походов за грибами, а повязали Гоосса зимой, в трескучие морозы, так что в летнем плаще свидетель никак не мог бы на улице находиться – он бы замёрз.

Бедная судыха всё пыталась понять, почему нигде не работающий тунеядец именуется себя художником. Был бы художником, служил бы, например, на обойной фабрике. Может быть, у неё был знакомый художник на этой самой фабрике?

Из известных людей на суд пришли Андрей Битов и Алла Драбкина. Битов в расстёгнутой шубе двигался так, как будто не замечал всех этих копошащихся мелких судейских тварей. Плечом отодвигал.

Помочь Гооссу он не смог – именно потому, что дело было милицейское, указаний сверху не было – а что судьях свидетельствование какого-то там писателя о том, что можно быть художником и не ходить к восьми утра на работу...

В общем, отправили Володю на химию за тунеядство. Ну, и спился он потом.

Возвращаясь к выставкам. Большую выставку организовала Наташа Казаринова, жена физика Казаринова в надежде, что о выставке заговорят по «голосам», и их выпустят в эмиграцию. Так и случилось. Тоже дело было в квартире на окраине. Когда мы вышли из трамвая и спросили дорогу у какой-то бабки, она тут же поинтересовалась, не на выставку ли мы.

Изумлённый окраинный народ целую неделю глядел на паломничество к ним в район бородатых косматых мужиков и длинноволосых малочёсаных девок.

На выставке у Казариновой я впервые увидела картины Оскара Рабина. Помню замечательную селёдку на газете.

Несколько выставок организовали Вадим Нечаев и Марина Недрובה. В конце семидесятых они уехали в Париж.

Была постоянная выставка у Ильи Беспрозванного. Я не помню, сидел ли он в отказе, или просто «в подаче» (ждал разрешения на выезд). Так или иначе, у него в доме был салон. Туда можно было попасть только по рекомендации. У Ильи ещё и стихи читали раз в неделю.

А иногда к нему попадал какой-нибудь номер «Континента», так что и из «Континента» могли читать. Такие игры были уже чреваты посадками.

У Беспрозванного меня поразили картины Алика Рапопорта. Он, кажется, потом уехал в Нью-Йорк.

Самая потрясающая выставка была в доме культуры МВД, где-то в районе Староневского. Персональная выставка Михнова. Он, пожалуй, вообще лучший виденный мной абстракционист.

Кстати, Скирра выпустил альбом Михнова – единственный современный русский художник, которого Скирра отобрал для своей серии альбомов. Как же мы в Риме кинулись на эти альбомы Скирры – тоненькие, дешёвые, – даже крошечных эмигрантских денег хватало на то, чтоб альбомы самых любимых художников купить.

Я, в принципе, не люблю абстракционизма, скажем, очень редко его люблю... Мы вошли в зал – типичный для советских домов культуры с лепниной и золотом – и висели картины, и дыханье перехватило – мне казалось, что Михнову удалось то, что не удаётся никому – его абстракции – не абстракции вовсе – ему удалось увидеть и показать души – душу огня, душу воды, льда, леса, костра...

Мы вышли на темнеющую улицу, фонари зажигались, таяло, и мы опять встали в очередь на вход... Слишком рано мы оторвались, хотелось ещё, и ещё...

Потом я рассказала Ваське об этом – он картин Михнова странным образом не знал, настаивал, что не любит абстракций... А имя знал – Васька дружил когда-то, в пятидесятые-шестидесятые, с Эллой Фингарет – египтологом из Эрмитажа. Она была в той весёлой толпе,

которая ездила к нему в Павловск кататься на лыжах... Подругой Михнова она стала чуть позже.

Потом Элла уехала в Израиль и однажды появилась в Париже, и к нам зашла. Она на три года старше Васьки, ей было тогда семьдесят – мне в те времена ещё казалось, что семьдесят – это всё ж много, и я ужасно радовалась, что Васькин возраст начинается ещё на шестьдесят. Элла была страшно молодая – прекрасная тонкая коротко стриженная женщина – мы пообщались, кажется, один вечер... Глядя на Ньюшу, она сказала, что собачьи носы, конечно же, делают из обрезков сумочек, – и наша мама тоже была убеждена, что на кожевенной фабрике носы делают – а где ж ещё...

Элла увезла в Израиль немало михновских картин...

А я сейчас смотрю на то, что в сети – чертовски их мало, и всё ж не на экране на них надо смотреть, так жалко...

Конечно же хождение по выставкам вызывало огромное желание покупать картины. Естественно, денег у нас на это не было и быть не могло. Рисунки стоили дешевле. На них тоже денег не было, но можно было организовать такой подарок на день рожденья. Все друзья скидывались и покупали рисунок за 20-25 рублей. Выбирали, сомневались, дрожащими руками трогали шершавую бумагу.

Альбир однажды спросил, что за рисунок висит у меня на стенке напротив нашей с Васькой кровати, – огромный мужик с детским круглым, почти свиным, лицом сидит на полу на газете и держит в ручище крошечную чашечку кофе. А на подоконнике кактус – тоже малюсенький – в горшочке.

К Махову нас кто-то в Москве привёл – в малогабаритную квартиру, где прислонённые к стенке холсты существенно уменьшали площадь комнаты, а рисунки на подоконнике – стопкой, и в папках. Очень много портретов сов, много женщин-сов. И среди них этот мужик – такой огромный, такой одинокий.

У меня сомнений не было – этот рисунок я хочу. Очень сильно. С ним и ушли, долго брели к автобусу по просвистанным пустырям между новыми тогда домами, скользили на катках – зима была, и тьма-тьмущая, почти непробитая жёлтыми фонарями.

Я набрала фамилию Махов в Гугле – лучше б я этого не делала – уйма претенциозных, аллегорических, слащавых, «красивых» картин... И такие же о нём тексты... Огорчилась. Хочется думать, что это просто однофамилец – Александр Махов, но вряд ли... Родился в 44-ом году, москвич – наверняка он.

И вдруг с одного портрета – взгляд – нет, не то чтоб это была хорошая картина – в ней та же слащавость, роднящая с Ильёй Глазуновым... Но печально глядит на тебя с портрета человек – с сочувствием и нежностью...

78-ой–79-ый

Мы уехали из Ленинграда 14 марта 1979-го года. С четырьмя чемоданами, разрешёнными на семью, в которой нас было четверо – я, Бегемот и бегемотские родители. И доллары мы везли – кажется, сотню на человека. Давние пыльные цифры пред-пред-пред-пред-прошлой жизни...

Естественно, увезти с собой рисунки, которых у нас набралось довольно много, мы не могли – советская власть оценивала, как не подлежащие вывозу предметы искусства, произведения тех самых авторов, которых не допускали до официальных выставок, а на неофициальной однажды в Москве эти же невывозные предметы искусства подавили бульдозерами...

Собственно, мы и записных книжек с ленинградскими-московскими адресами и телефонами увезти не имели права – так что Ленинград назывался в записных книжках Ливерпулем, а Москва – Манчестером – и всё латинским шрифтом...

Зима 78-го-79-го была очень холодной – замерзали и останавливались автобусы-икарусы, не рассчитанные на -30, лопались трубы... У советской власти был склероз, – с зимними холодами она уже не справлялась.

*Впереди – бесконечная зима,
А на улице снега – по колени,
И гуляет такая кутерьма
Аж по всей шестидесятой параллели.
Лупит ветер то в морду мне, то в бок,
Только воздух в самом деле без движенья:
То земля опять уходит из-под ног –
Ощущаю подошвами вращенье.
Надоел необъезженный буран,
Снова белый жеребец сорвал подпругу...
Хоть бы выйти на какой меридиан
И держась, как за канат, скатиться к югу.*

1964

А у нас в декабре объявились две иностранки. Сначала появилась француженка Даниэль. Она попала к нам через другую француженку, с которой дружил один наш приятель, – получила от него наш телефон – как людей, которые худо-бедно по-французски объясняются, и рады новым знакомствам.

Я уже не помню, были ли у Даниэль причины для поездки в Ленинград, кроме как желание повидать свою подругу англичанку Джой, которая в Москве преподавала на каких-то курсах английский. Даниэль – рыжая тридцатилетняя нормандка из Руана – доцент в руанском универе – занималась ирландской литературой и немножко феминизмом. Диссер она защитила по какой-то ирландской писательнице, которую я, увы, так и не прочитала.

Только вот отправилась Даниэль почему-то не в Москву, а в Ленинград, куда визы у Джой не было. А у Даниэль меж тем не было визы в Москву. Визы в Советском Союзе выдавались не на посещение страны, а всего лишь на город!

Услышав об этих грустных обстоятельствах, мы предложили Джой попросить кого-нибудь из русских знакомых попросту купить ей билет на поезд в Ленинград (паспорт для этого не требовался) и приехать нам – устроиться на славном кухонном диванчике нашей роскошной однокомнатной квартиры на Детской улице.

Не помню, сколько у нас пробыли девчонки, – неделю уж точно. По вечерам Даниэль приносила бутылку вина, или скорей две – нам тогда это было в диво – дорого больно каждый день пить – пили мы не чаще раза в неделю, скорей реже, – по каким-нибудь обстоятельствам – и нещадно мешали водку, сухое вино, коньяк,

если случится. Мы отпраздновали с Даниэль и с Джой Рождество – первое в моей жизни.

Потом, когда мы уже жили в Америке и приезжали во Францию на каникулы, Даниэль в каждый наш к ней приезд, после обеда, после выпитого под еду вина, выносила из подвала пыльную бутылку с невзрачной самодельной этикеткой – с виноградника то ли отцовского брата, то ли мужа маминой сестры – не помню...

В том предотъездном декабре девчонки без устали нас просвещали, а мы слушали, развесив уши, – весёлые здешние девчонки-интеллектуалки сообщили нам, что в интеллектуальном кругу все несомненно бисексуалы – до термина Гейропа советская власть ещё не додумалась, оставив это на будущее – путинской России.

И как же было холодно – Даниэль, как французам свойственно, приехала в Россию в чём-то вроде унтов, так что ноги были в тепле – а сверху, как опять же свойственно французам, и мне теперь – красный нос торчал из намотанного шарфа – привет вам, жертвы войны 12-го года.

Когда мы пожаловались на то, что не представляем, как нам вывезти наши любимые картинки, Джой тут же вызвалась их забрать. Срок её московской жизни кончался, и она считала, что никто на таможне к ней не придерётся.

Картинки мы ей отдали, старые письма всё-таки нет – наверно, решили, что если у иностранки найдут на таможне русские письма, то могут у неё быть всерьёз неприятности.

Перед Новым Годом девчонки разъехались – Даниэль домой в Руан, Джой в Москву. А холод всё свирепел, скрипел под ногами так, что от скрипа сводило зубы.

У наших друзей утром 31-го декабря в подъезде забил фонтан кипятку.

Поезд Ленинград-Москва в новогодний вечер дошёл до Бологого. Оттуда замёрзших пассажиров отвезли обратно в Питер на ледяных советского производства автобусах... Венгерские стояли в стойлах в такой мороз.

Последний Новый Год в Ленинграде. Я раздала свою коллекцию крокодилов – они у меня жили в родительском доме на гладкой крышке рояля, и собирала я их ещё со школы.

Резиновый маленький крокодильчик-Брежнев, красный огромный надувной крокодил Гена, зелёный Крокодил Крокодилович и такой же – красный. Всем хватило – и было так подробно мной обдумано – кому какой. Крокодилы должны были встретиться на Ниагаре. И наверно, большая часть новых крокодиловладельцев там к сегодняшнему дню побывала (но с крокодилами ли?), а я вот – нет.

1 января к нам с Бегемотом зашла среди дня по какому-то делу его мама – и попросила выпить – холодно же. Откуда в ленинградском доме могла найтись выпивка 1 января 1979-го? А у нас была – случайно кем-то купленная бутылка советского виски, – совершенно несъедобный напиток.

Но бегемочья мама хватанула стопку, не поморщившись, внушив нам-слабакам, жалкому новому поколению, невероятное почтение.

Понёсся январь, февраль, сборы, таможня, где из груди нашего проходившего проверку дальнего багажа вылетела эмалированная миска с отбитой эмалью и с грохотом покатила по полу.

На весь ленинградский аэропорт звучал через динамики магнитофон – пел Илюшка, пел Бегемот, пели мы все хором – записывали мы наше пенье всю осень 78-го, – собирались, пели, записывали, оставались недовольны, перезаписывали ещё раз, и ещё...

На «очах чёрных» в Илюшкином исполнении вошёл начальник и велел слушававшему нашу плёнку подчинённому не разрешить нам её вывезти – брезгливо отметив, что все эти уезжающие почему-то желают взять с собой запись чёрных очей.

В новогоднюю ночь на 2016-ый мы извлекли из картонного ящика уже не четырёхдорожечную плёнку, а кассету, на которую ту плёнку когда-то переписали, – швейцарский приятель Диего привёз нам её в Америку... А из-под столика добыли пропитанный пылью магнитофон...

Письмо от Джой мы получили летом 79-го – в городе Провиденсе, столице самого маленького штата Род-Айленд.

Джой сообщила нам, что в своих путешествиях она проехала через город Геную и там у милейших владельцев гостиницы, где она жила, оставила наши картинки. Адрес гостиницы прилагался.

Мы в гостиницу написали, хоть и были уверены, что это пустое... Однако получили ответ... А за ним и бандероль с картинками.

Даниэль приезжала к нам в Провиденс нашим первым там летом – вместе с приятелем они путешествова-

ли по Америке. Когда я попыталась постелить им общую постель, Даниэль крайне изумилась и сообщила нам, на сегодняшний день вполне очевидную мне истину, – вместе путешествовать ещё не означает вместе спать.

С Джой пути у Даниэль разошлись. На следующее лето – 80-го года Даниэль устроила нам с Бегемотом бесплатное жильё в Париже, – поселила нас в студию, принадлежавшую её подруге, уехавшей шататься на долгие летние каникулы.

Даниэль приехала нас туда заселять – очень глубоко беременная. Осенью она родила девочку от одного руанского профессора сильно старше, он всю жизнь пребывал в убеждении, что детей у него быть не может, и вдруг вот на старости лет... И стал он жить на две семьи – со своей женой и с Даниэль и их общей дочкой. А Джой стала воинствующей феминисткой-лесбиянкой, поселилась в Лондоне в доме, куда мужиков не пускали. С Даниэль они продолжали изредка общаться, так что до нас доходили иногда от Джой новости. У неё случился бурный роман с одной американкой – женой и матерью выросших уже детей. Американка ушла к Джой, и дальше они перекрёстно переженились с двумя гомосексуалами (англичанином и американцем), так что в результате все четверо получили право на жительство и на работу в обеих странах... Одна пара поселилась в Англии, вторая в Америке, не помню уж, где какая.

В доме у Даниэль в Руане я попробовала первый в своей жизни артишок. И там же, приехав на каникулы из Штатов, мы познакомились с её друзьями, с самыми юными из ребят 68-го... Однажды мы попали к ней в толпу – её подруга – школьная учительница, у которой был тогда роман с немцем, приехала с ним откуда-то из

велосипедной длинной поездки, университетские приятели Даниэль тоже там были...

То ли я, то ли Бегемот задал какой-то идиотский вопрос про Францию, из общих напыщенных вопросов – как понимать, да каким аршином мерить. Чья-то рука потянулась к магнитофону, и нам поставили Брассанса. Слушать Брассанса – был коллективный ответ.

После переезда в Париж мы некоторое время изредка общались. Мы с Васькой были у неё в Руане, она к нам заезжала... А потом почему-то очень глупо растерялись... Хотя Руан и близко от Парижа...

Прибывшие из Генуи рисунки висят на стенах – в основном у Бегемота – Галецкий, Кубасов, Володя Гоосс... Я забрала только одну картинку – огромного мужика с крошечной чашечкой кофе...

Невозможно помнить связно. Вроде бы, можно восстановить связи, или их отсутствие, выстроить в линию события, но это не память – память – это случайные осколки дежа вю, и не угадать, что останется.

Да и то, что остаётся, тоже стирается со временем, превращается в рассказы, застывает в неподвижности, и уже не угадать, что же было такое, да и было ли – почему именно вот эта минута, одна из многих, легла в руку странно тёплой тяжестью, а вокруг пустота, провал.

Я не помню, как мы решили уезжать. Кажется, инициатива была, скорее, моя.

При этом внутренне в нашем решении никакой роли еврейство не играло – я это твёрдо помню. Так же как никакой роли не играли очереди и отсутствие «кол-

басы» (собственно, в Ленинграде 70-х в очередях можно было не стоять, довольствуясь той едой, которая доставалась без особых хлопот, а в роли вкусенького с большим успехом могли выступать собственного приготовления солёные грибы и варенья, а ещё закатанные в банки на зиму ягодные компоты) – мы уезжали от советской власти, только от неё, с твёрдой уверенностью, что тамошнее-ленинградское – «город, знакомый до слёз» – наше навсегда, и если б не эта ненавистная постылая власть – не было бы страны лучше и родней. Впрочем, других стран мы не видели.

Твёрдо знали, что едем не в Израиль. Но я не помню разговоров с обсуждением этого, настолько было ясно, что нет – то ли по ощущению собственной «русскости», принадлежности русской интеллигенции, то ли от страха перед востоком, то ли от нежелания принимать стороны в бесконечном и безнадёжном конфликте. А скорее всего, все эти обстоятельства вместе для нас исключали Израиль из рассмотрения.

Если не Израиль, значит, Америка, Канада или Австралия, про то, что можно уехать в Европу, никто не знал.

Австралия – далеко, там ходят на голове, она не обсуждалась, в Канаде плохо с работой, значит, – Америка.

Для начала нужно было получить вызов. Их фабриковали либо в Израиле, либо в ГБ – для художников и прочих личностей, от которых власть предпочитала избавляться, отправляя их не на восток, а на запад.

Итак, решение принято, вызов пришёл, – вертятся колёса, и от тебя не зависит практически ничего.

Как потом выяснилось, мы вполне верили советской пропаганде – никто из нас не знал, что «социализма»,

то есть социальной защищённости, в любой западной стране, включая Америку, в которой её в разы меньше, чем в Европе, значительно больше, чем в СССР. Про Америку говорили – «пан, или пропал», не знали ни про медицинские страховки, ни про аспирантские стипендии.

До подачи заявления следовало уволиться с работы, этого требовал хороший тон – не подводи людей. С работы часто увольнялись и после отъезда детей.

Были, естественно, ситуации, когда человек не считал нужным увольняться, и его увольняли после подачи.

Ритуальным танцем было исключение из комсомола. Родители, если не ехали с детьми, должны были написать, что у них нет к детям материальных претензий. В том числе, давно потерявшиеся отцы, бросившие матерей, когда дети были совсем маленькими. Поиск таких отцов иногда был непростым делом.

Меня из комсомола исключили легко. Комсоргша в частном разговоре с лёгкой завистью порасспрашивала, куда едем.

Нужны были деньги, много денег – 900 рублей, – за отказ от советского гражданства (да, ренегат и предатель родины должен был заплатить), и за визу, и за билет. Мы уезжали на книги – Цветаева в «библиотеке поэта», западные живописные альбомы – всё это продавалось на чёрном рынке, впрочем, мы туда не ходили, у нас всё скупил книжный барыга.

И подвешенное ожидание – месяца два? Грызёт тоска и сомнения. Очень близкий мне человек в ответ на моё нытьё про то, что я не представляю себе, как буду обходиться без сирени на Марсовом поле, предложил подумать не про май, а про ноябрь.

Я как-то писала, что меня гнал инстинкт самосохранения – останься я в России, и быть мне бездельницей и снобкой. Мне отъезд был совершенно необходим, при том, что своей повседневной жизнью, за вычетом вездесущего врага – власти, ненависть к которой была частью этой повседневности наряду с перепечаткой нелегальщины от трёхтомника Мандельштама до собрания Бродского, я была довольна.

Нас не мучили, мы сразу получили разрешение. И дали на сборы, кажется, месяц.

Надо было съездить в Москву за австрийской визой (улетали все из Ленинграда в Вену, причём были рейсы «хорошие» – через Будапешт, а были плохие – через восточный Берлин, нам достался «плохой»). Надо было переделать уйму мелких дел, и уезжая сдать квартиру государству.

Четыре разрешённых чемодана с собой и дальний багаж, отправлявшийся в ту самую Вену: деревянный ящик – «ст. отправления Ленинград – ст. назначения Вена». Всё отправляемое барахло нужно было представить на таможню. Мы запихнули в дальний багаж всё на свете – книги, которые не продали, старые кастрюли, одежду. Например, привезённые мне папой из восточного Берлина, где он строил атомную станцию, из магазина, где почему-то торговали западно-германскими тряпками, туфли на платформе. Я их после отъезда ни разу не надела – некуда было, да и вообще с пересечением границы исчезло понятие парадной одежды, и обувь превратилась в кроссовки, башмаки и тапочки.

Потом аэропортовская таможня – предметы, которые мы увозили в 4-х чемоданах.

Нельзя было вывозить книги, изданные до 47-го года, картины, записные книжки с русскими адресами, фотографии не членов семьи. Нельзя было вывозить документы. Скажем, письма. Скажем, университетские дипломы.

Человеку, который шмонал нас в аэропорту, было неловко, он тихо говорил, почти краснел и отворачивался. Он простил мне кольцо, которое я забыла задекларировать. Ценности надо было объявлять, а я забыла записать кольцо на пальце – тонкое золотое с alexandritом – родительский подарок на 16 лет.

За 4 дня до отъезда мне исполнилось 25 лет, и мой день рождения почти плавно перетёк в отвальную.

Утром поехали в аэропорт, не помню, на скольких такси. Нас было много.

Людям, которые собирались продолжать нормально жить в России, в аэропорт ездить было нежелательно – не знаю, были ли случаи, когда за проводы гнали с работы, но карьере останавливали точно.

Аэропорт – тривиальная неременная метафора – похороны. На том свете, может, и хорошо, – но тот свет – не этот.

Помню – самооткрывающиеся двери – такие теперь всюду – в супермаркетах, учреждениях – первая, встреченная мной, была в ленинградском аэропорту.

Нам было легче, чем многим, за нами собирались последовать другие члены нашей компании, они были ещё не в «подаче», но собирались. Так что мы кричали друг другу – из разных миров – до барьера и за ним – «до скорого».

Оказалось – до перестройки, до 88-го. Нет, не совсем, до того мне удалось два раза приехать – в 85-ом и в 86-м.

Ревел папа, некрасиво всхлипывая. Мама не плакала. Моя любимая подруга сидела на плечах у человека, в которого я была тогда влюблена, и редела. Он длинный – этот человек, и подруга моя оказалась почти под потолком.

Последнее – нас уводят в автобус на лётное поле – мой самый давний друг, с наших пятнадцати друг, машет идиотской фуражкой, похожей на милицейскую, – он-то как раз никогда никуда не собирался...

Можно подняться вверх по лестнице, ведущей вниз, но временная ось односторонняя...

Время течёт, бежит – обычные глаголы – от них не веет смертным холодом – но нет – горная река – время, – камни ворочает, и против течения – никак. А по течению кости ломает.

И где-то в той памяти, от которой ключи потеряны, где не отличить от яви сон – плещет озеро июньским вечером, лодки качаются на привязи у мостков, пахнет сладкой озёрной водой, и в обещании вечности та сладкая тоска с запахом сена, которую я слышу в мычанье шагаловских коров.

*А ты представь себе, что вот вчера,
Не задохнувшись ни на миг от бега,
В незапертые двери со двора
Ввалюсь я, не очистив лыж от снега,
Что время обратимое – не бред,
И неизвестно, будут или были
Те годы, что, засыпав белый след,
Мне целый мир однажды подарили –
И горизонта тесная петля
Не расползлась, а лопнула мгновенно:
Снежком и Штраусом мелькнула Вена,
И вдоль дорог помчались тополя...*

.....
*А клёны превращаются в платаны,
Порастеряв кору коротких лет –
В белоколонный лондонский рассвет
Врываются парижские каштаны,
В лиловой дымке флорентийских гор
Кирпичный Амстердам возникнет разом,
А блики на аркадах Амбуаза
Развеселят пустынный Эльсинор...
Всё потому, что время – это дом,
Где «завтра» и «вчера» живут не ссорясь,
Где даже ненаписанную повесть
Прочтёшь уже с началом и с концом,
Что снежный вечер был в начале дня,
Что стоит только оттолкнуться резче,
Как тут же самому себе навстречу
Направит та же самая лыжня.*

1991

Самолёт Ленинград-Берлин был полон. И не было в нём ни иностранцев, ни командировочных. Кажется, когда сообщили зачем-то по радио, что мы пересекли советскую границу, люди зааплодировали.

Почему берлинские рейсы считались плохими, мы поняли, приземлившись в Берлине. Нас заперли в не слишком большом зале – без сортира – на 5 часов. Кому-то, кажется, не хватило сидячих мест, у людей с младенцами в ручной клади оказались горшки. Помню смутно – какие-то люди ходят по залу с горшками в руках, полное оцепенение, пережёвываешь в голове аэропортовское, пытаешься осознать невозможное – пропасть между собой и собственной жизнью, оставшейся там.

Потом нас перегнали в другое помещение, где шла какая-то торговля. Немедленно пронёсся слух, что надо закупить сигарет, чтоб продать их в Вене, где они значительно дороже. Люди кинулись тратить свои жалкие доллары. Мы почти удержались, но не совсем – ощущение жуткой неуверенности – всего-то имущества 180 долларов на двоих – ну да, знаем, что нас как-то обеспечат, но неуют страшный – уверенность в том, что за эти доллары надо держаться, что каким-то загадочным образом они ещё помогут нам в Америке. А с другой стороны – ну как не купить сигарет на продажу, и не попытаться хоть как-то упрочить своё более чем хлипкое материальное положение. Мы купили один блок.

Вечером – Вена. В темноте. Небывалый мир – стеклянный аквариум аэропорта, сверкающие вывески, рядные упаковки, самооткрывающиеся двери, и жуткая

робость – ничегошеньки ты тут не понимаешь, да ещё и без немецкого.

Нас встретили представители Сохнута (еврейского агентства, ведающего отправкой евреев в Израиль), – девочка и мальчик – очевидным образом люди из России, и не слишком приветливые. Они отобрали сигареты, сообщив, что ввоз их в Австрию незаконен, и пообещав вернуть их перед выездом из Вены – не вернули – естественное подозрение, что сигареты они продали сами. Потом велели тем, кто собирается в Израиль, сделать шаг вперёд. Я не помню – то ли в нашем полном подвязку самолёте в Израиль собиралась одна семья, то ли вовсе никто.

Сохнутовцы остались недовольны. Надо сказать, что для меня с самого начала было загадкой, зачем Израилю хотелось заполучить людей, не желавших туда ехать. А ведь некоторых загоняли – хитростью и угрозами, хотя, конечно, немногих. Может быть, у сохнутовцев были какие-нибудь премии за головы поехавших в Израиль?

Так или иначе, нам объяснили, что для того, чтоб встать на довольствие в Хиасе (еврейском агентстве, помогавшем уехать не в Израиль), нужно прийти туда с открепительным талоном от Сохнута. Так что первое, что все должны были сделать наутро, – посетить Сохнут и получить этот открепительный талон.

В аэропорту нас посадили в автобус и повезли в пансион мадам Беттины – из памяток отъезжающим, ходившим в Самиздате в России, все знали, что есть такой пансион, куда эмигрантов в Вене селят в ожидании отправки в Рим.

Помню тьму за окном автобуса, мост через маленькую речку (неужели Дунай? Нет, конечно, канал какой-то). Потом большая комната, в которой много народу. Сидят на чемоданах. Кстати, наши чемоданы с нами не приехали, самолёт в Вену из Берлина был по размеру меньше, чем в Берлин из Ленинграда, и чемоданов он не взял, так что бедолаги – те, кто не положил зубных щёток в ручную кладь. Но в этой комнате с нами не только попутчики, тут и совсем другие люди, – приехавшие на поезде из Одессы, их чемоданы при них. Какой-то старик с совсем пустым лицом слегка покачивается, сжавшись на своём стареньком бауле, и в голову сразу лезут литературные и не очень описания эвакуации.

Шушуканье – с ленинградцами обращаются лучше, чем с одесситами, потому что помощниками тут ленинградцы. Все благотворительные организации брали помощников из эмигрантов, которым за работу немного приплачивали к пособию. И в Вене были такие помощники, и в Риме, – из людей, ждавших отправки.

Стоим в очереди. Какой-то деловитый молодой человек, который уже в Вене явно освоился, некоторое время тут, у каждой семьи спрашивает, откуда они, и распределяет по дешёвым гостиницам, которые Хиас снимал для прибывших из городов и весей всей земли одной шестой.

Самым плохим почему-то считается остаться у Беттины, – услышав, что мы из Ленинграда, нас отправляют в гостиницу «Моцарт». Увозят. У всех с собой кипятильники – тоже в памятке сказано, что вещь необходимая. И запрещённые к употреблению в номерах плитки при нас.

Наутро отправляемся в Сохнут. Длинный коридор, очередь. Впускают. Молодые люди с хамскими мордами демонстративно разговаривают между собой на плохом иврите, даже нам слышно, что язык у них хреновый. Вчера из СССР, и повадки гб-шные. Врут, не краснея. Грозят. Молодой женщине ярко еврейской внешности с двумя детьми говорят, что детям в Америке будет плохо, что у них слишком еврейская внешность, что они не смогут там учиться музыке, ещё какую-то чушь. Она соглашается ехать в Израиль, растеряна, чуть не плачет, из Сохнута её увезли в замок Шенау, где народ ждёт отправки в Израиль – без права выхода в город.

С нами разговаривают с полной презрительностью, напоследок, выдав желанный открепительный талон, плюют в морду – «а родители ваши никогда не уедут, мы об этом позаботимся».

Выходим оттуда с ощущением освобождения. Идём в Хиас. Там вежливо и мирно. Через 8 лет я попала в Вену во второй раз – мы с подругой встречали там нашего друга – отказника, уехавшего одним из первых при Горбачёве. Мы были в идеальных бластных условиях, нас бесплатно поселили в той же гостинице, что вновь прибывших эмигрантов, потом отправили среди них в Рим на поезде без билета. И в Вене начальник венского Хиаса сводил нас в ресторан «В зелёном саду», где между деревьев висели разноцветные лампочки – тогдашний начальник Хиаса, голубой, был приятелем фиктивного мужа моей подруги. Забавно было на другом витке войти в ту, да не в ту реку...

Все люди, у которых в советском паспорте в пятом пункте стояло «еврей», вставали на довольствие в Хиасе, русских передавали тостовскому фонду, или католикам

из Каритаса. Если вдруг попадались религиозные евреи, они тоже часто не оставались в Хиасе, а шли в какую-то религиозную благотворительную организацию, забыла, как она называлась. Работали все эти организации очень слаженно. Скажем, всем давали одни и те же деньги на месяц. Цифр не помню. Выжить на эти деньги было можно, но, естественно, считать надо было каждую копейку. Впрочем, несмотря на крайнюю ограниченность в деньгах, люди всё же ходили в музеи (которые тогда были сильно дешевле) и чуть-чуть путешествовали.

Мы вышли из Хиаса с какими-то шиллингами в кармане – в венский мартовский нехолодный день.

Что я помню про Вену, в которой, мне кажется, мы пробыли 5 дней? Вечером – ощущение праздника. Из ленинградского снежного ледяного марта – в чистые сухие улицы, по которым люди после работы бредут беспечно, невнятно улыбаются, покупают воздушные шары и цветы.

На рынке клубника. Детовладельцы не удерживались все – просто не могли не насладиться тем, что их дети в марте едят клубнику. И почти все в письмах домой про эту клубнику зимой рассказывали, вызывая, как потом выяснилось, упрёки в бестактности. Клубника, конечно же, была невкусная, сейчас и в голову не может придти покупать в марте картофельные испанские красные ягоды...

На улицах много старых дам с маленькими собачками в намордниках, напоминающих корзинки, много строительных лесов, несколько не похожих на ленинградские, таких аккуратненьких лесов.

В девять вечера город пустеет. Я не полюбила Вену, я рвалась в Рим.

И два музея – в одном мой тогда любимый Климт. Сейчас я его почти разлюбила, он кажется мне чрезмерно декоративным, а тогда я стояла перед картиной «Поцелуй» и балдела – такой она была чувственной и живой. До Вены я знала Климта по репродукциям, мы тогда активно покупали репродукции на слайдах, не знаю уж, кто и как их производил, но раздобыть можно было, и несравнимо дешевле альбомов – у нас были Климт, Сутин...

И другой музей – помню, как стою в полутьме перед Брейгелем – каток, красные шарфы...

«Старожилы» передавали вновь прибывшим важные знания – как не платить в метро – элементарно – купить билетик и не компостировать его – придёт контролёр, – сделать вид, что ничего не понимаешь и не знаешь, что билет перед входом надо пробить. Мы ходили пешком.

И ещё можно было звонить, привязав монетку к ниточке, как-то хитро ею шевеля, опустив её в автомат. Впрочем, кому нам в Вене было звонить, звонки – это звонки в Ленинград, звонки в свою жизнь, а туда из автомата не позвонишь. В Вену нам один раз позвонили ребята, – в гостиницу, – из нашей квартиры, – нерасторопная советская власть не отключала телефон сразу после отъезда, а до отъезда не отключали его, естественно, за взятку, и квартиру не опечатывали сразу, так что ещё несколько дней можно было заходить и звонить...

В Рим мы уезжали ночным поездом, в plombированных вагонах, – как вождь мирового пролетариата. Нам велели приехать на вокзал сильно заранее. Естественно, все потратили к отъезду свои жалкие шиллинги. А вокзальные сортиры в Вене оказались платными – народ ругался и терпел, сидя на прибывших к тому времени чемоданах.

Когда я прохожу мимо автобусной остановки, а мне никуда ехать не надо, пусть даже мимо той, с которой каждое утро отъезжаю, и автобус мимо проходит, – очень тянет в него вскочить – почему, зачем? Будь это ещё неизвестный автобус, который мог бы увезти куда-нибудь в странные края, – но ведь нет. И почему-то тем не менее кажется, когда он куда-то без меня уходит, что стоит вскочить в него – и. И собственно что? Да ничего. Будто выйти из собственной жизни – на автобусе ли выехать, или услышать гудок дальней ещё электрички. Когда-то очень бывало страшно на зимних ночных ранних вечерах пригородных платформах, – приближалась снопом света электричка, и тянуло в этот снопок к краю крыши, к краю платформы. Потом в какой-то из модных тогда психологических книжек Владимира Леви я прочитала, что это дело обычное, что тянет всех.

Самое страшное ужасом влекущее – выйти из собственной жизни, из собственного я – ведь просто путешествие – когда едешь ты куда-то, или даже пешком идёшь, это совсем про другое – это ты куда-то идёшь, это твой автобус.

И эта тяга к клошарству, к бродяжничеству – та самая у Пастернака манящая страсть к разрывам.

И вдруг вспомнила раннеэмигрантское Васькино. Мы его никогда не обсуждали, он сомневался, включать ли его в окончательное избранное, и я уговорила, что нет никаких оснований его выкидывать. И никакой тут ностальгии – оно вот о том самом, о чём я тут бормочу, начав с мгновенного укола, – когда иду мимо остановки, и проходит чужой автобус...

Вот так подаются в клошары,
Где набережной кривой
Слепят тебя жёлтые фары,
Которых не знал над Невой.
Вот так из холмистого Пскова
Обрезки старинной души
Ссылают на остров Святого
Людовика – и не дыши...

1977?

79-ый

В поезде «Вена-Рим» мы, едушие в Италию без виз эмигранты, заняли несколько вагонов. Это были старого образца вагоны, где в сидячих купе друг против друга располагались кожаные сиденья, каждое на троих. Сейчас таких вагонов, кажется, и нет больше. Сиденья слегка раздвигались, смыкаясь друг с другом, и получался сплошной кожаный диван, где можно было спать вповалку. Мы оказались в купе вместе с ленинградской парой – примерно нашего круга, примерно наших ровесников, с девчонкой лет трёх. Вскоре эта девчонка провела день в итальянской семье хозяйки квартиры, которую ребята сняли. Родители отправились в Рим, а дочка осталась играть с хозяйской дочкой. Когда же родители вернулись, довольная девчонка сказала им, что они с итальянской сверстницей целый день рассказывали друг другу секреты. На каком языке?

Ранним утром я проснулась – поезд стоял в Венеции – в темноте над платформой на синем прямоугольнике белыми буквами – Venezia. С тех пор у меня горло сжимается от итальянских названий станций – белым по синему. И Италия иногда щемяще вспоминается – названием станции и чашкой капучино на вокзале.

*Продаются лукавые маски.
А листвы в этом городе мало.
Сылет ветер аккорды неясной
Мандолины с Большого Канала.*

*Лёгкий вечер. Тонкие струны.
Холодней дыханье асфальта.
Крики чаек слышны от лагуны.
Толчея на базарном Риальто.
Расшумелись в каменной раме
Волны, взбитые катерами.*

*Не хочу их пенного гула –
Наугад сверну в переулок,
В ту стеснённую стенами высь,
Где двум лодочкам не разойтись.
В тёмных лавочках прячутся сказки,
Только этих сказок концы –
В воду...
И никакой огласки...*

*Продаются лукавые маски
И лукаво молчат продавцы.*

1992

79-ый

До Рима нас не довезли – поезд остановился в чистом поле – и нас выгрузили под охраной автоматчиков – от кого охраняли? Такая была процедура.

Рассадили по автобусам и повезли в Ладисполь. Каким образом Ладисполь – курортный городишко под Римом – стал центром русской эмиграции, я не знаю. Когда-то была Остия, потом Ладисполь. Там у многих римлян дачи, и это меня до сих пор удивляет – одно из крайне немногих виденных мной в Италии некрасивых мест. Городок без выражения, пляж с чёрным вулканическим песком. Зимой там было пусто, и, наверно, владельцы пляжных квартир были рады возможности хоть кому-то их сдавать.

В Остии, впрочем, тоже жили эмигранты – разделение «по происхождению» продолжалось – считалось, что в Остии живут одесситы, а в Ладисполе ленинградцы. В 1979 нас было в Риме одновременно 8000, и эти два города – Одесса и Ленинград – были представлены лучше других. На самом деле, в Ладисполе одесситы тоже жили, уж не знаю, как было с ленинградцами в Остии.

И привозили в Ладисполь всех – Хиас устраивал там первый приём – нас записывали на довольствие, а

уже потом ежемесячно за деньгами и по прочим надобностям надо было ездить на улицу Regina Margherita в Рим. В каком-то из многочисленных читанных в Ленинграде эмигрантских писем, которые передавались из рук в руки, кто-то рассказывал о том, как повстречал в баре в Риме свою бывшую жену. История казалась невероятной. Но в здании, где на втором, кажется, этаже располагался Хиас, внизу был бар – итальянский бар, – место, где, в основном, пьют кофе...

Потом приезжая в Рим, я много раз гуляла по этой улице, а как-то раз мы рядом с ней на неделю сняли квартиру. Но я не отправилась на поиски здания, где был Хиас – не нашла бы – боюсь, что из всех мест, где я жила, с уверенностью я нашла бы только первую квартиру – ту, где прожила до 18-ти с половиной – на Шестой линии у Малого, во втором дворе-колодце.

79-ый

Привезли нас в гостиницу. Смутно помню стеклянную веранду, булку с маслом, апельсины в вазе на столе на фоне серого мартовского дня за окном, когда вдруг неожиданно вылезает и слепит солнце – прямо в глаза.

Неделю за нас платил Хиас – за гостиницу с обедом, завтраком и ужином, и за это время надо было найти квартиру и переехать.

Естественно, денег не было на то, чтоб снять целую квартиру, надо было как-то кооперироваться. Мы поселились вместе с московским спортивным журналистом, уехавшим с родителями, потом он, кажется, редактировал в Америке «Новую газету», если, конечно, за давностью лет, я не перепутала чего-нибудь.

А владельцем нашей квартиры был полицейский, и откуда-то мы узнали, что зарплата у него 400 «миль» – примерно 400 долларов по тем временам – эта сумма казалась нам огромной – на что и тратить такие деньги!

Шли мы в первый наш там вечер по улице Ладисполя, увидели высунувшуюся из окна старуху в платке – в лучших традициях неореалистических фильмов – Бегемот, всегда легко обращающийся с иностранными языками, составил в голове вопрос, начинающийся с dove – старуха выпростала из платка большое седоволосое ухо и недовольно и громко сказала: «Чаво?»

8000 человек – это очень много, и огромная их часть сгрудилась в этом маленьком городке, где обменивалась новостями на площади у фонтана. Эмиграция – социальная школа. Жили мы в Ленинграде в своём кругу, еле замечая чужих – соседей по коммуналкам, по трамваю, и вдруг оказались среди этих вот чужих – на общих основаниях, на попечении благотворительных организаций,

когда вдруг в этом незнакомом мире и без собственных средств к существованию люди оказывались детьми, и даже хулиганить начинали по-детски.

Мы-то думали, что уезжают инженеры, врачи, научники, а тут оказалось, что и автомеханики, и директора овощебаз, за которыми ОБХСС зналось, и приёмщики пустых бутылок. И была страшная психологическая теснота – волей-неволей люди начинали общаться с теми, с кем в обычной ситуации и не познакомились бы.

Такая вот психологическая теснота, неуверенность в завтрашнем дне, зависимость выплескивали на поверхность не лучшие человеческие свойства. На путях под платформой валялись окурки «Беломора» – ковром, русские злобно ругали опаздывающие поезда, итальянцы невозмутимо ждали, не поводя ушами. На магазинной стенке появилась надпись «ни варавать». По утрам русские ехали на огромный базар в Трастевере, который тогда называли «Italiano» – продавать, в основном, фотоаппараты, «Зениты», например, и ещё почему-то балетные тапочки и детские игрушки. Самые бойкие громко кричали «regali per bambini» и махали в воздухе какими-нибудь матрёшками. Балетные тапочки были тогда ходким товаром, и мы тоже попросили прислать нам хоть парочку. Ничего-то на продажу мы с собой не привезли. Парутапочек родители как-то передали, и мы продали её на этом самом рынке, только вот не помню, что мы сделали с деньгами – может быть, пиццу съели. На базар нужно было ехать рано, на утренних поездах, на которых итальянцы из Ладисполя ездили в Рим на

работу. Русские забирались в вагоны и зажимали двери, чтоб больше никто не мог войти.

Тогда всё это раздражало безмерно, и люди эти вызывали ярость и брезгливость, – сейчас, став сильно терпимей, да и просто умней – понимаю, что ничего, кроме жалости, они не заслуживали, – несчастные, вдруг ставшие детьми в этой новой жизни.

Они верили любым слухам – тому, что в Италии нет скорой помощи и тому, что запрещены аборты. Они говорили, что в Риме грязней, чем на Крещатике. Они хотели, чтоб их называли «господами», испытывая омерзение к слову «товарищ». А я, наглая снобка, обращалась к ним: «уважаемые лица без гражданства».

Одесситы давали бесконечные советы, ленинградцы чванились, и не знаю, что было противней. Однажды в Риме на вокзале, стоя на площадке готовящегося к отходу поезда, я не ответила на вопли тётки, которая шла по платформе и орала в воздух: «Этот поезд в Ладисполь?». Я лопалась от стыда и злости – и молчала. Сейчас должно бы быть стыдно, но смешно.

Как-то старушка в писчебумажном магазине что-то попросила у продавщицы по-русски, та принесла требуемое, и старушка удовлетворённо повернулась к нам: «Посмотрите, если хотят, так понимают».

Итальянцы вокруг Ладисполя научились брать деньги за автостоп – как не возьмёшь, если настойчиво суют. Из эмигрантской среды возникли квартирные маклеры, которые брали деньги с новичков за наводки на квартиры.

Какие-то люди являлись в Хиас и лгали, что у них украли месячное пособие. Ходили слухи о том, что в Риме болтаются беглые из Израиля и воруют «визы

обыкновенные выездные» у свежеприехавших – люди из Израиля ведь не могли получить статуса беженцев, следовательно, и в Америку въехать не могли. Только и оставалось, что тащить визы у новичков и переклеивать фотографии. А если учесть, что Хиас работал в пару с ещё одной благотворительной организацией – Джойнтом (Хиас, кажется, содержал нас в Риме, а Джойнт покупал билеты в Америку), то чего удивляться, что одна старушка прославилась тем, что обидевшись на что-то в Хиасе, сообщила хиасовской ведущей: «я на вас буду жаловаться товарищу Джойнту».

И вот несмотря на всё это – Хиас ухитрялся всех отправлять в страны назначения. Людей лечили, люди имели крышу над головой и вкусную еду – покупали на рынке печёнку и овощи, а потом и клубника пошла.

И несмотря на эту невыносимость свалившихся на голову невоспитанных детей, итальянцы не стали ни антисемитами, ни антирусскими. Мало того, было непонятно, как в детстве воспитывают обычных итальянцев, откуда брались водители автобусов, которые, чтоб показать дорогу, чуть не выпадали из своих автобусных окон, или пешеходы, провожающие тебя-дурака до места...

Мне очень грустно смотреть на итальянцев сейчас – чего не сделала русская эмиграция, того кажется, добились албанская и филиппинская. Той, казалось, природ-

ной естественной доброты и желания помочь стало куда меньше, ксенофобия появилась, и итальянцы, не имеющие большого опыта работы с иммигрантами, сегодняшнее движение народов, в которое они тоже оказались захвачены, психологически выносят не слишком хорошо.

И ещё одно несмотря – для Америки эта наша третья волна, кажется, оказалась самой выгодной эмиграцией из всех массовых – практически все стали успешно работать, многие создали рабочие места, и работающие люди своим вложением в экономику с лихвой покрыли деньги, затраченные на пенсии для стариков. И приёмщики бутылок, и автомеханики, и директора овощебаз, и научники – все нашли применение. И когда оказалось, что воровать невыгодно, воровать перестали, открыли честные лавки и гаражи.

И даже многие врачи успешно прошли через весь ужас экзаменов.

Так почему же глядеть на фотки того времени так радостно? Я вовсе не считаю юность, раннюю молодость, самым лучшим временем жизни. А уж в моей жизни лучшее время точно наступило после 37-ми, когда мы стали жить с Васькой...

И на чужие юные фотки радостно глядеть...

Да потому, мне кажется, что на самых дурацких юных фотках, именно, кстати, юных, а не детских, так

отчётливо видна абсолютная бесконечность жизни...
Годам к сорока она проходит. И тогда делается стыдно
за уйму всего, сказанного, совершённого тогда, когда
жизнь была бесконечной... И если повезло со щастьем,
начинаешь ценить повседневные подарки.

*Если время стреляет как птицу влёт,
Если время стекает с морщин как пот,
Как стекают остатки дождя на капот –
И ветер сметает их на скоростях,
Как приставшие к стёклам листья,
Как снежинки первые, как пустяк,
Не замеченный в рощах предместья,*

Торопись:

*Из групповой фотографии с надписью «Время»
Вырезают ножницами одного за другим,
И дырки, в плотной бумаге зрея,
Пропускают не память – фигурный дым.*

*И несолнечный день, и туман как сметана,
Сквозь него – только мутного солнца глазок...
Это – время пожухлой листвой платана
Улетает за ветреный горизонт,
Это – время вертится возле вечных вещей,
Вроде Сириуса, Любви и того же Рима,
Обтекая их, как скалу ручей,
И опять вырастает новый мир, тот, ничей –
Не из глины, брёвен или кирпичей –
Из ничего сотворённый рифмой.*

2004 г.

79-ый

Нам страшно повезло – через пару дней после приезда в Ладисполь, на первом интервью в Хиасе, мне предложили работу. Уехала, дождавшись визы в Америку, говорившая по-итальянски девочка, и меня взяли вместо неё переводчицей к врачу, доктору Рокки, который по договорённости с Джойнтом должен был принимать русских три часа в день – с утра до обеда. Он говорил на своём итальянском французском, я на своём безобразном русском французском, и как-то мы справлялись. Пациентов оказалось очень много, и доктор стал принимать их не только по утрам, но и после обеда. По традиционному римскому презрению к неаполитанцам он говорил, что одесситы, как неаполитанцы, а ленинградцы, как римляне...

Заплатить за эту работу мне должны были в самом конце, перед отъездом в Америку, и непонятно, сколько.

Середина дня, обеденный перерыв, мокрый мартовский ветер, пустой пляж, закрытые раздевалки, чёрный песок, пальмы трепыхаются под ветром, серый тротуар, запах мокрого моря.

Ostia Lido

*Под пальмами не было ни души.
Уткнувшись в набережную косо,
Заснули стада понурых машин,*

*Весь мир заполнили дрёмой колеса.
Дома притворялись, будто спят:
На окнах белые шторы смыкались,
Пытался не утонуть закат,
А в его душе волноломы копались.*

*Пенный ветер шуршал
Неизвестно о чём,
И по скалам бренчал
Звонкий луч за лучом...*

*Ловить эти звуки,
Терять их опять,
В судьбе копать и не раскопать.
И долго потом перебирать в темноте
Бренчащие слова –*

те или не те?

*Но не подберёшь,
Как ни шарь по земле,
Луч, звеневший, как грош
На гранитной скале...*

1993 г.

79-ый

Дня через два после приезда в Ладисполь мы поехали в Рим – на автобусе, чтоб дешевле.

И – мир повернулся, захотелось только, чтоб длились и длились эти римские каникулы – чёрт с ней, с Америкой, – Рим, Рим, Рим – подольше бы не отправляли...

* * *

*А в Риме – февральские маки
И кони фонтана Треви...*

*Мимозы в февральском Риме
Подсвечены фонарями,
А рядом... Не разобратся,
Кто пальма а кто – колонна...
Тритоны, люди и кони –
Всё – в синей небесной раме,
И на дыбы рвутся кони,
И звонко трубят тритоны...*

*Их слышат февральские маки...
А кони – копыта... брызги... –
Так рвутся они из фонтана,
Что если б не взгляд Нептуна...
Ах, как эти кони свирепы!*

*Тритоны фонтана Треви
Вовсю надувают щёки,
И раковины – как сирены...*

*На фотографии – странно –
При должном увеличенье
Десятки портретов сразу:
И вроде – знакомые люди
Толпятся возле фонтана???*

*В кафе у облезлого дома
Ждут в полдень столы пустые...*

*Кого? Да, не знают сами,
А так, неопределённо...*

*Людей узнаём не всегда мы,
Не то, что знакомых клёнов!*

*Ну, кто там торчит у фонтана?
Ведь это чужие с чужими,
А рядом так близко – странно! –
Знакомое дерево в Риме! –*

*Да только ли тут? А в Питере
Торчит над Михайловским садом
«Петровский дуб», тот, где морды,
Вразброс и неровным рядом
Вырезанные кем-то,
Подмигивают знакомо...
И ловят меня на слове...
А есть ещё и в Ростове
Знакомое дерево – выше
Дедовского дома...
Оно меня знало тоже,
Когда был не выше скамейки,
Стоявшей в пёстрой беседке
Из дикого винограда...*

.....

*Так может эти деревья,
И маки в февральском Риме,
И раковины тритонов,
Трубящих в час неурочный,*

*И кони фонтана Треви
Не на открыточных фото,
А в этих небрежных строчках
Останутся для кого-то...*

8 октября 2012

***Я помню не только день, но и минуту, когда
я влюбилась в Рим – с первого взгляда и навсегда.***

79-ый

Мы вышли из автобуса и побежали – сначала очень целеустремлённо – на вокзал Термини, где с некоторым трудом отыскивали в углу одной из платформ сортир. А потом от Термини пошли бесцельно, наверно, даже без карты – не могли мы тогда на неё потратиться.

Первая остановка – Колизей. До него были, конечно, улицы, тогда незнакомые. Но вот это ощущение смысла и счастья, которое всегда у меня бывает, не каждую минуту в Риме, но в каждый туда приезд, возникло, когда мы стояли напротив Колизея, у заборчика, за которым обычные римские раскопки – какие-то лежащие останки колонн, куски мрамора – маки – вот эти мартовские маки на вылезших из земли древних рукотворных камнях – было счастье, подтверждение протяжённости жизни, маки, протянутые из вечности.

Колизей был тогда бесплатным. И трава росла между рядами каменных скамей. И, конечно же, бесконечные римские коты. Во всех развалинах. Можно было за-

йти, сесть на камни и слушать, как время просвистывает мимо, притворяясь, что остановилось и мурчит.

Васька, который жил в Остии за шесть лет до нас, написал тогда стишок:

*Замок Ангела стал музеем.
Первый век и двадцатый квити:
Стали кошками львы Колизея,
Итальянцами стали квириты.
Итальянцы бастуют лихо,
Кошкам носят еду старушки,
По музеям ржавеют тихо
Гладиаторские игрушки.
Все руины пристойно прибраны,
Всё на месте – и пицца, и пъяцца...
Но когда засыпают римляне,
Львы по крышам уходят шляться.*

1979-ый был давно, когда для людей внове ещё были достижения шестидесятых – повседневная свобода и раскованность – в поведении, в одежде, в миропонимании. Это было ещё до массового туризма, до сувенирных ларьков и скоплений народу в количествах, убивающих ощущение присутствия. В собор святого Петра не было очередей на вход, а Пьетта – стояла голая, к ней можно было подойти и коснуться – без надетого на неё сейчас стеклянного ящичка. Мир был менее коммерчески ориентирован не

потому, что был лучше, а потому, что некому было ещё покупать сегодняшний туристский мусор.

В Рим из Ладисполя мы ездили два раза в неделю – в субботу во второй половине дня и в воскресенье на целый день. Я работала утром с девяти до полудня, а потом с трёх до восьми. Считалось, что до семи, но получалось до восьми, или даже до девяти. По субботам я работала только утром.

А в обеденный перерыв бродила по ветреным серым улицам, сидела на чёрном вулканическом песке у заколоченных раздевалок, глядела на серое море. Март был ветреный холодный. В нетопленном доме надевали по два свитера и толстые шерстяные носки. Южная ранняя нетопленная весна.

Когда ездили в Рим, брали с собой бутерброды. Продавались такие булочки, полые внутри, и туда в дырку можно было засовывать всякую снедь. Пировали – покупали одно на двоих мороженое. Жадными глазами смотрели на пиццу, на огонь в печках за окнами пиццерий. На треугольнички трамедзини с помидорами и баклажанами. И разок за день пили волшебное прекрасное капучино, – стоя у прилавка, так было дешевле.

В подвале на Термини был переговорный пункт, откуда иногда звонили в Ленинград, безумно волнуясь, и три минуты сразу кончались.

Ходили на главпочтамт, куда нам писали до востребования.

Врезалось – сидим на ступеньках площади Испании и ждём, когда почта откроется после перерыва. На ступеньки вынесены кадки с азалиями, народу не столько, сколько сейчас, – сидят-посиживают, места есть, ничего никто не пытается тебе всучить – сейчас-то полотнища со всякой сувенирной дрянью постоянно возникают на любом свободном пятачке, или какой-нибудь продавец тебя за рукав дёргает.

Азалии светятся серым днём, сидишь у самой кадки, письмо на колене пишешь. Потом дождик пошёл.

И ходили, ходили по улицам. Корсо – тогда ещё не пешеходная, шумная, переполненная людьми и автобусами, площадь Колонны с огромной колонной, площадь со слоном... Около форума –церкви времён перво-христиан. На площади Республики перед элегантными кафе под аркадами каждый субботний вечер – оркестр, сладкая музыка, грань слёз. Впервые увиденный фонтан Треви – огромные кони вздымаются. Сидишь – глядишь на эту падающую воду.

А Навона – воплощение свободы – тогда ещё хип-пушная площадь, где едят, спят, поют, площадь, которую я впервые увидела в Ленинграде на какой-то выставке фотографий – ровно такой и увидела, как в 79-ом она ещё была, – перекрёсток мира. И на ней мы видели жуткую охоту на предполагаемых террористов, когда полицейские въехали на страшной скорости, увернувшись

от бросившегося под колёса пуделя, и стали пинками поднимать лежавших людей. А когда кто-то из оказавшихся там в это время зевак-туристов поднял фотоаппарат, этот аппарат, выбитый из рук, тут же полетел на асфальт.

Очень страшно было переходить улицы. Пешеходных управляемых переходов практически не было, – надо было, помахивая рукой, прикрываясь ею от ревуших чудовищ, ступать с тротуара в смертельную реку. Ну, машины ладно, а ведь ещё и громадные несущиеся во всю прыть автобусы.

А у Тибра были совсем негородские набережные. Спустишься к воде, а там сорняки, заросли крапивы, тропинка. И ящерики на каменных стенах уходящих вверх, в город.

Очень тихо было в Трастевере – римском Затиберье. Врезалось – пустая утренняя площадь перед Санта Мария ди Трастевере, залитая солнцем, уже явно май, тепло, и единственное кафе под белыми зонтиками, где сидит человек с газетой и пьёт кофе.

*Лиловый камень вместо тучи,
...Колонны тонкие, как пальцы,
В них ветер плачет монотонно.
Пригнулись травы, разбегаются.
Земля и небо – всё лилово –
Готово с грохотом распасться.
Уже белы одни колонны,
Колонны тонкие, как пальцы,*

*Ах, как же всё случилось скоро:
Под исполинским камнем тучи
Колонны хрупкого фарфора...*

Рим. Форум. 2005 г.

Римских фотографий у меня сотни. Не выкидываю – чтоб перебирать каким-нибудь чёрным ноябрьским вечером. Рим не лезет в кадр, – слишком огромный, слишком живой, – ну как вообще после Феллини фотографировать Рим – с фресками, которые откапывают, когда роют метро, а они тут же исчезают – на воздухе, с вывесками, с толпой на Термини, с каменными ночными громадами, с шумом воды в фонтанах.

79-ый

Еду надо было покупать на mercato rotondo – на круглом рынке. Там было дешевле всего. Так что раз в неделю в Рим ездили все эмигранты – попросту за провизией. Нет больше этого базара, занимавшего весь центр площади, за трамвайными рельсами. Сейчас там обычный крытый рынок. И весь этот район, тогда бедный итальянский, у самого вокзала Термини, сейчас стал то ли индийским, то ли филиппинским – даже вывесок по-итальянски не осталось.

Набор продуктов довольно определённый – печёнка, овощи. Мы ещё совсем не знали не русской еды – многие

покупали мелкие зелёные кабачки, считая, что это огурцы, и удивлялись их «неправильному» вкусу в салате. Не умели варить макароны, помня русские серые и гадкие, уваренные до тряпичности, пожимали плечами по поводу итальянской любви к макаронным изделиям.

А ещё со страшной завистью смотрели на ярко-красную жидкость, которую сидевшие за уличными столиками люди тянули из стаканов, украшенных лимонными дольками. Когда мы её попробовали, уже, кажется, в Америке, она показалась отвратительно горько-сладкой – теперь это мой любимый аперитив – кампари, единственный аперитив, который в доме почти всегда в наличии.

Из итальянских слов первые, которые все выучивали – это, конечно же «quanto costa?» – сколько стоит, и «basta cosí» – хватит. А ещё на рынке в ушах звенело – *tre chili una mille* – апельсины, огромные, их швыряют на весы – сколько там их на килограмм. Потом помидоры – *tre chili una mille!* – силыми от криков голосами.

Бегемот, у которого вообще на очень высоком уровне способности схватывать язык, выучил сильно больше. Из-за него я не узнала практически ничего – не было нужно, Бегемот объяснял. Мой ужасающий, кривой и косоый, и курносый итальянский появился значительно позже, когда я приехала в Италию уже с Джейком, и разговаривать пришлось мне. Я поняла, что с моим итальянским можно уже как-то существовать, когда уразумела, что бабушка, согласившаяся дать нам напрокат лодку, хочет, чтоб если мы встретим карабиньеров в море (почему мы должны были их встретить?), мы бы им объяснили, что лодку она нам дала исключительно по дружбе.

Максимальный прорыв у меня был, когда мы с Джейком пару месяцев жили в Триесте. Я тогда купила книжку народных сказок, собранных Итало Кальвино, и честно по-итальянски её прочла. И узнала множество важных слов – например, *orso peloso* – волосатый людоед. В сказке про Красную шапочку он играл роль волка. При детальном осмотре людоеда Красной шапочкой выяснилось, что большого-небольшого, а хвостика у бабушки и вовсе не было. Ну, и много нового я узнала про Святого Петра. Перед тем, как уйти бродяжничать с Христом, он горох на поле воровал, но увидев хозяйку испугался, а жена его, чья нехорошая идея и была на чужом поле горох тащить, увидела хозяина и тоже очень испугалась. Ценная книжка. Двухтомник сказок.

В какой-то другой раз в букинистическом магазине я наткнулась на «Мастера и Маргариту» по-итальянски. Читать её, естественно, было просто, учитывая знание русского текста, но поскольку я Булгакова к тому времени совсем разлюбила, то и по-итальянски он у меня не пошёл.

Кроме первого раза, мы больше не ездили из Ладисполя на автобусе, а обзавелись выгодными поездными карточками. В результате мы узнали все римские вокзалы – мы, в основном, ходили пешком, но если уж надо было добраться куда-нибудь далеко, или очень быстро, перемещались на поезде, благо вокзалы в Риме в разных концах города.

Однажды Бегемот ухитрился оставить в поезде полиэтиленовый пакет с овощами. Спихнулся он практически тут же на платформе, но поезд уже ушёл.

В этих неприятных обстоятельствах (шутка ли – потеря ценной еды!) из Бегемота полился почти правильный итальянский. Он панически побежал в справочное бюро и произнёс *ho lasciato in treno una busta con verdura*, – дяденька в фуражке и при исполнении сказал, что искать нашу бусту надо на конечной станции в *pulizia*. Бегемот засомневался, переспросил, действительно ли *pulizia* (служба уборки – от слова чистить), а не *polizia*, поехал на конечную, нашёл эту самую пулицию, и там ему торжественно вручили наши овощи. Через 6 лет, когда мы с Джейком вернулись в Триест после первой нашей поездки в Россию с туристской группой из Венеции, мы оставили в поезде привезённую для Бегемота семиструнную русскую гитару и тоже благополучно нашли её в триестинской пулиции.

Бегемот тоже работал в наш итальянский период. Его работа заключалась в том, чтоб переводить беседы американских работников Хиаса с эмигрантами. В Хиасе заполняли документы, которые требовались для въезда в принимающую страну – прежде всего нужно было письменно объяснить, почему мы беженцы. Это была чистая формальность. Картер уже договорился с Брежневым о советских евреях и невероятно увеличил квоту на их приём, заполнить гигантскую сто с лишним тысячную квоту в год эмигранты из СССР не могли, как бы ни старались. Естественно, что как только человек выезжал из Советского Союза, уже не играло никакой роли, еврей ли он по советскому отобранному паспорту – все выехавшие из СССР попадали в эту квоту.

Наверно, мы в каком-то смысле отвечали международному определению беженцев – в конце концов, после того, как за огромную для нас сумму нам в городах и весях СССР выдавали визы выездные обыкновенные, нас пихали коленом под зад, веля обратиться через три недели – без паспортов, без денег и почти без имущества. Кроме трёхмесячной австрийской визы и 90 долларов на человека, у нас не было ничего. Но, конечно, про настоящих беженцев мы узнали чуть позже. Вьетнамцы, бежавшие на лодках через океан, тонувшие пачками. Племя хмонгов, жившее между Лаосом и Камбоджей под постоянным обстрелом...

С настоящими беженцами обращались куда хуже, чем с нами, их селили в лагеря, где они долго ждали решения своей судьбы. Кормили их на месте, не выпускали...

Нас, можно сказать, принимали по-королевски, да ещё и римские каникулы подарили.

Была категория людей, которым американцы изредка отказывали во въезде, – бывшие коммунисты. Они должны были объяснить, почему вступили в партию. Беспроигрышным для американцев оправданием были карьерные соображения, а вот если человек писал, что вступил в партию давным-давно и по убеждениям, то могли и не пустить. При нас в Риме была семья, где отец – старик – просидел полжизни, как троцкист, – а в 1979-ом получил отказ от американцев.

Ещё в Америку не выпускали больных туберкулёзом или сифилисом, которых должны были выявить на десятиминутном медосмотре. Впрочем, реакцию Вассермана, кажется, делали.

Помню старика – «идн фурн – евреи едут» – говорил он и пожимал плечами.

Помню семью с парализованной тётцей, другую – с сыном-шизофреником. Много было горя. Одесситы, помимо всего прочего, уезжали от нечеловеческих жилищных условий. В Ленинграде всё же уже многие тогда выехали из коммуналок в хрущобы, или в кооперативы. А в Одессе, кажется, продолжали жить в одной комнате бабушки-дедушки-папы-мамы-дети. Уже от одного этого можно было убежать на край света.

Некоторые эмигранты считали, что знали идиш, и среди работавших в Хиасе американцев были знавшие идиш.

Однажды к хиасовской ведущей, у которой работал Бегемот, с большим опозданием вошла тётенька и с порога сказала: Майн поезд хат геопоздайт. Ведущая уставилась на неё круглыми глазами, а не знающий идиша Бегемот непринуждённо перевёл, что тётенькин поезд опоздал.

К моему доктору Рокки шла толпа – больных и здоровых. Одесская, намазанная, средних лет тётенька возмущённо объясняла, что в Одессе доктор выписывал ей лосьон. И другой одессит. Он вёз умирающую от рака жену. До сих пор помню его – черноглазый, машущий руками человек. Чуть не при каждой встрече он говорил: «вы таки знаете французский, так почему не едете в Канаду». Тогда это раздражало безумно...

Встречались мужики, которые явно посещали дешёвых блядей у Термини и обзаводились всякой венерической мелкой дрянью. Как же они страстно объясняли доктору, что они ни-ни, не то что с блядами, а и с женой ни-ни. Некоторые беременные женщины не хотели ве-

рить, что беременны, пытались убедить доктора, что у них просто задержка, а доктор улыбался и говорил, что римское солнце способствует.

Австралия тогда принимала людей с рабочими профессиями и почему-то не хотела брать толстых. Поскольку виз туда ждали дольше всего – минимум полгода, у желающих было время похудеть, и они ходили к доктору за каким-нибудь волшебным худильным снадобьем.

А однажды какому-то толстяку, который в Австралию даже и не собирался, доктор сказал, что худеть надо, иначе женщины любить не будут, и потребовал, чтоб я это толстяку перевела.

Мужик надулся и торжественно произнёс, что за его деньги его всякая полюбит, и тоже потребовал перевода.

Очевидным образом, богатые люди давали взятки на советской таможне и увозили остаток денег. Половину? Меньше? В какой валюте? Рубли же были тогда неконвертируемые.

Ещё мы общались с какими-то почти забытыми милыми людьми, с которыми ездили вместе в Черветери, смотреть на этрусские захоронения. Кстати, любопытно, насколько из того времени не выросло никаких реальных дружб. Ну конечно, через пару месяцев, проведённых очень тесно, всех разбросало по свету. Но, вроде, и особого желания продолжать с кем-то общение не было. Наверно, отчасти потому, что эмоционально мы были полностью настроены на оставшихся в Ленинграде друзей, ждали писем, писали письма, звонили, и просто места не было для заведения новых связей.

Так и бежала эта римско-ладиспольская жизнь, из которой большинству хотелось выбраться как можно скорей, а по нам – длилась бы она, да длилась.

Ostia Antica, 2008-ой

Вечное шуршанье травы. Город после нейтронной бомбы – людей нет, а пива залейся.

Нагроможденье кирпичных стен, каменных ступеней, безголовых статуй – головы на тонких шеях отгрываются первыми, а ещё сифилитические носы.

Когда-то главный это был важнейший римский порт – Тибр впадал в отступившее нынче море.

Улицы названы – Театральная, Рыночная.

...

*В те же скалы колотится пена прилива.
Этот мраморный стол... Вот уж двадцать веков
На столешницу ставят остийское пиво,
То, которым Катулл угощал моряков.*

...

Мы не нашли таверны с громадным каменным столом, заблудившись в переулках, тупиках, спотыкаясь на ухабистой земле. Но нашли стол поменьше.

Рыбный рынок. Но в основном, бани и храмы. Бани прекрасней храмов, мозаичные полы с дельфинами, рыбами, гребными галерами, идущими под парусами.

Что они делали в банях ясно – философствовали, завернувшись в полотенца.

Вот у Бродского:

*«Добрый вечер, проконсул или только-что-
принял-душ.*

Полотенце из мрамора чем обернулась слава.

После нас – ни законов, ни мелких луж.

Я и сам из камня и не имею права

*жить. Масса общего через две тыщи лет.
Все-таки время – деньги, хотя неловко.
Впрочем, что есть артрит если горит дуплет
как не потустороннее чувство локтя?
В общем, проездом, в гостинице, но не об этом речь.
В худшем случае, сдавленное «кого мне...»
Но ничего не набрать, чтоб звонком извлечь
одушевленную вещь из недр каменоломни.
Ни тебе в безрукавке, ни мне в полушубке. Я
знаю, что говорю, сбивая из букв когорту,
чтобы в каре веков вклинилась их свинья!
И мрамор сужает мою аорту».*

*А в храмах? Вестлалок трахали?
Театр, конечно, тоже есть. Без набивших оскомину
зрелищ никуда.*

ТЕРМЫ КАРАКАЛЛЫ

*На белые с чёрным мозаики белые с чёрным чайки
Усаживаются важно, и на мгновенье влажно
Становится на полу...*

*Чайки не улетают – чайки на месте тают:
На чёрном мраморе белые контуры
На века остаются в углу...*

*А слуги пучками кидают в тяжёлые ванны
лаванду,
Спорт голый философ с полуголым другим, –
А потом*

79-ый

В середине апреля кран повернули, и разом прекратились дожди. Наступило лето – не жаркое сначала, лёгкое воздушное раннее лето. Наш любимый круглый рынок пропах клубникой, и хоть про неё не кричали на все охрипшие голоса – *tre chili una mille*, – она всё-таки подшевелила, и мы накинулись на неё, осуществляя гастрономическую мечту детства – нажраться клубникой так, чтоб из ушей полезло.

Примерно в это время нас, к нашему огорчению, вызвали в американское посольство. Все знали, что интервью в посольстве – последний этап – после него назначают дату отъезда в Штаты. Наше время в Риме было сосчитано. Дни падали, как минуты в песочных часах.

Беседа в посольстве длилась недолго и была совершенно неинтересной. Прекрасно говоривший по-русски дяденька задал несколько незначущих вопросов, и мы вышли в тень огромных платанов на фешенебельную *via Veneto*.

87-ой

В июне я приехала в Вену встречать Борьку Ф., моего ленинградского друга, просидевшего в отказе с 79-го до 87-го, когда Горбачёв стал отпускать отказников. Из Вены я уехала с Борькой в Рим и прожила с ним в Италии до самого его отъезда в Америку.

Мы сняли в Риме комнату в громадной квартире, в которой жил хозяин (студент-медик) и ещё девчонка-

американка, приехавшая в Италию за приключениями. Иногда мы ужинали все вместе – наш хозяин варил громадную кастрюлю с макаронами, мы запивали их вином из не менее громадной бутылки, а потом садились в маленькую хозяйскую машинку и ехали кататься по ночному Риму.

В нашей комнате по мраморному полу бегали пушинки от одуванчиков.

Эмигрантскую толпу мы видели очень мало – по дороге из Вены в Рим, первые пару дней в Риме в гостинице...

Эмигранты не изменились. Стоя у груды багажа, возле вокзала Termini, заметив проходящего с чемоданом человека, кричали друг другу – «проверьте ваши чемоданы, здесь Италия», они по-прежнему жаловались, что в Риме грязней, чем у них на Подоле.

Портье в гостинице, стыдливо потупив глаза, попросил, чтобы я объяснила людям, что нужно мыться. И чтоб повесила объявление о том, что не надо воровать...

У меня больше не было ни снобизма, ни злобы, ни презрения – я уже знала, что всё у этих людей будет хорошо, что приедут они в свою Америку-Австралию-Канаду, что найдут работу, что научатся жить в этом новом мире, что всё отлично образуется. Они только этого ещё не знали.

И в автобусе из Рима в Ладисполь я с нежностью перевела одному мужику на итальянский список очень нужных слов, в котором фигурировали «сасиськи», помимо пива.

Та вторая римская жизнь – проход по тому же кругу наблюдателем, а не участником процесса – отдельная история.

Борька после окончания нашего Герценовского института, где не было военной кафедры, был забрит в армию солдатом. Конечно, не ходил он «ать-два», а сидел в тепле и что-то локаторное программировал. Когда в Риме Борьку вызвали в американское посольство, его стали с интересом расспрашивать об его армейских занятиях – на превосходном русском языке. Борька сообщил, что служил в армии поваром. «А чем ты солдат кормил?» – поинтересовался посольский дяденька.

– А тушённой

– Что такое тушёнка?

– Да, мясо тушёное.

На этом разговор закончился...

79-ый

Одна из задач римского ХИАСа заключалась в том, чтоб распределять людей по городам и весям стран назначения. Эмигранты, если у них были где-нибудь знакомые, готовые замолвить за них слово в еврейских общинах по месту жительства, сообщали о таковых ХИАСу. Кстати, подозреваю, что на этом этапе людям, проходящим через ХИАС, было несколько лучше, чем тем, кто шёл по толстовскому фонду – еврейские общины в Америке реально помогали свежеприехавшим. Я не

знаю, были ли у толстовского фонда или у Каритаса тесные связи с принимающей стороной.

Друзей в Штатах у нас не было, но мы знали одного человека в Нью-Хейвене, в Йельском университете, другого в Провиденсе, в Брауновском университете, и третьего в Нью-Йорке, не в университете. Все трое были готовы попросить, чтоб нас послали именно к ним.

Нам очень быстро сказали, что мы поедем в Провиденс. Нью-Хейвен эмигрантов в тот момент не брал, в Нью-Йорк же посылали тех, у кого никого не было, – огромный город, всем место найдётся. Ну, а нас, значит, в Провиденс. Я подолгу разглядывала карту, – мне кажется, что любовь к картам у меня началась именно тогда. Смотрела на реку Providence River и радовалась – можно будет купаться. Где нам было знать, что река эта ядовитого жёлтого цвета... Говорят, впрочем, что сейчас её почистили.

В самом конце апреля нам назначили дату отлёта – 4 июня.

Оставалось чуть больше месяца. Мы решили уволиться с работы и попытаться надышаться. Мы ведь не знали тогда, что самолёты не очень дороги, и что мы будем без больших проблем и жертв летать в Европу каждый год.

Тогда нам казалось, что это прощание.

Надо было перебраться из Ладисполя в Рим. Мы решили, что попытаемся обойтись без услуг русских маклеров, – и денег было жалко, и мысль о том, что на тебе наживаются, омерзительна. Маклеры – это были ушлые эмигранты, которые каким-то образом вставали между квартирохозяином и съёмщиком. Естественно, сдавали эмигрантам особые хозяева – те, что были соглас-

ны на то, чтоб их жильцы исчезали в непредсказуемый момент. Правда, они могли тут же найти следующих. Маклеры, узнав, что освобождается квартира, вешали в ХИАСе объявление и, взяв деньги с новых жильцов, сводили их с хозяевами.

Мы решили маклеров перехитрить – увидев понравившееся квартирное объявление, поехали по указанному адресу, решив, что как-нибудь с хозяином сговоримся. Ехали долго – на трамвае от Термини – далеко-далеко, к piazza Gerani, на via Primavera. Потом через много лет я попыталась найти на карте, где мы жили в мае 79-го, но мне это не удалось – этот далёкий от центра квартал не попадает на римские карты для туристов. Но недавно на подробной нетуристской карте я нашла нашу улицу и в последнюю поездку в Рим я возле Термини даже сфотографировала трамвай, который до сих пор туда ходит. Поставила зарубку – в следующий раз обязательно прокатиться на этом трамвае.

Мы подошли к многоквартирному дому, нашли консьержа и спросили у него, кому дом принадлежит. Консьерж принял нас за безумцев. Где нам, воспитанным на «Мистере-Твистере», было знать, что в таких домах люди владеют квартирами, а не целым домом.

В общем, пришлось всё-таки идти к маклеру на поклон. Заплатили ему что-то и переехали в комнату в Риме.

Соседями нашими были очень приятные люди из Баку. Пара с ребёнком и мама жены. Мама была не старая совсем, по моим теперешним представлениям – молодая. В Баку у неё остался муж, которого не выпустили. Чтоб помочь детям, мама с ним развелась и вместе с детьми уехала. А он уволился с инженерной работы,

чтоб избавиться от идиотской бессмысленной секретности, которая была навешана на большинство инженерских должностей – в надежде, что через пару лет его выпустят. Через месяц после их отъезда он умер от инфаркта...

Хозяин нашей квартиры оказался очень любознательным человеком и, как многие итальянцы, отличным учителем языка. Он неоднократно приглашал Бегемота выпить и расспрашивал его про Россию, а когда Бегемот терялся в итальянском, хозяину удавалось всё-таки, по всякому вертя фразу, добиваться понимания. Меня он не звал – уважающие себя итальянцы в то время разговаривали с мужиками, а не с какими-то там тётками.

Неподалёку от нашего нового дома жил пёс – невиданной нами раньше породы – бархатный, огромный, иссиня-серый. Сейчас-то я знаю, что это неаполитанский мастиф. Он гулял сам по себе, без поводка, невероятный был красавец.

Однажды я совершила недопустимое действие в отношении незнакомой собаки – наклонилась к нему. Пёс то ли испугался, то ли оскорбился и очень страшно рывкнул – прямо мне в нос.

Я отшатнулась с колотящимся сердцем, а Бегемот справедливо сказал, что вряд ли я хочу остаться в Риме ценой собственного носа...

Многие эмигранты за время римских каникул пытались хоть чуть-чуть увидеть Италию – говорили – «съездить на север» (во Флоренцию и в Венецию) и «съездить на юг» (в Неаполь и на Капри). Какие-то организовывались то ли экскурсии, то ли просто коллективные поездки.

Мы не вникали. Мы сразу решили, что поедем самостоятельно.

К сожалению, денег за мою работу мы ещё не получили и даже точно не знали, когда и сколько мне заплатят, так что ждать не стали, обошлись пособием и бегемочьей зарплатой, которую платили, кажется, по-недельно.

Сначала отправились на север по маршруту Флоренция – Падуя – Венеция – Верона.

Приобрели мишленовский путеводитель по Италии на итальянском, потому что он был дешевле, чем на лучше нам знакомых языках. И главное, – *biglietto chilometrico*. Сейчас они подорожали, а тогда это был совершенно гениальный способ ездить по Италии. Вообще итальянская железная дорога была очень недорогой, а этот билет давал право на удешевлённый проезд трёх тысяч километров. Надо было только заранее сказать, сколько людей будет им пользоваться, и в кассе перед каждой поездкой отмечать потраченные километры.

Примерно до 90-х в Италии существовали невероятно дешёвые гостиницы. В русский эмигрантский легко вошли слова *locanda* и *soggiorno*.

Часто это были огромные с мраморными полами итальянские старые квартиры. Хозяева нередко жили там же, просто сдавали лишние комнаты. Гораздо позже мы с Джейком жили в Риме в локанде у двух старух-сестёр. Всё у них скрипело и разваливалось. И сломался душ, который Джейку удалось всё-таки починить. Вообще итальянский душ того времени – это была поэма. Как правило, водогреи были такие маленькие, что один человек с трудом успевал помыться, а то и выскакивал с

визгом из холодной воды намыленный, почти как инженер Щукин.

Иногда хозяева приводили комнаты в гостиничный порядок, и в них появлялись раковины и исчезала индивидуальность жилья. А иногда так и стояли эти комнаты с разношёрстной мебелью, оставаясь такими же, как когда в них по-настоящему жили... Случалось, что в комнаты на сдачу складывали ненужные предметы...

Вот такое жильё мы сняли на две ночи во Флоренции. Помню отчётливо, как мы вечером сидим у стола, покрытого бархатной пыльной скатертью.

Много лет подряд, глядя на фотографии Флоренции, меня охватывало ощущение нереальности: неужели я, вот та самая я, которая когда-то играла в классики на 6-ой линии Васильевского, в самом деле, тут иногда бываю. Видела этот огромный красный купол, эти бело-зелёные плиточные стены, стрельчатую светлую прямоугольную уносящуюся в небо башню.

ФЛОРЕНЦИЯ

*Развалясь, задыхаясь, старея,
День лежит у холмов на плечах.
Возвышается Синьория
Как пожарная каланча.*

*Тяжелы её флагов полотна,
Высока сетка окон пчелиных,
Зноем дышит ирис болотный
Над чернейшей бронзой Челлини.*

*У времён – своя картотека,
У истории – свои качели.
Чёрный привкус XX века
У иронии Макиавелли...*

*В пыльный полдень гляди с Понто Веккио
Как ползут желтоватые воды.
Одиночество человека
Есть последняя степень свободы.*

*Разморённый скукой и ленью,
Просиди хоть весь день на ступенях
В переулке у дома Данте –
Не дождёшься его возвращенья...*

*День уйдёт. Будет вечер длинный.
Окружат тебя жаром стены.
Резкий бег облаков старинных,
Перепутав лунные тени,
Превратит дома в гобелены,
Бесконечно сменяя картины...*

*Почему же ты сел на ступени
В переулке у дома Данте?*

.....

*У Челлини – чеканке учиться,
У Макиавелли – как издеваться,
А у этого флорентийца –
Научиться не возвращаться...*

1994 г.

Наверное, сейчас я люблю Флоренцию чуть меньше. Её тёмные улицы-коридоры, может быть, не зачаровывают теперь так, истоптанные американскими студентками, в три жопы их перегораживающими, и английские крики заглушают шёпот? Или просто в разные времена больше любишь разное...

С берега Арно мы увидели на холме на другом берегу сияющую бело-зелёную с плоским фасадом церковь Сан-Миниато. Мы перешли реку и пошли к ней – по азимуту, в какой-то момент заблудившись в переплетенье узких лезущих вверх улиц.

До сих пор для меня главное во Флоренции – прийти туда и, глядя сверху из церковного садика на купола, реку, холмы бормотать: «К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане». И лучше всего на закате.

И тогда там мы стояли и пытались наглядеться – покой и стрижи, марево, синие холмы, купола. И только одно жгло – все они, родные и любимые, оставшиеся в Ленинграде, этого не видят...

А от Сан-Миниато мы поднялись ещё выше, в форт, утонувший в сосновом запахе, и сосны так приятно было называть пиниями.

Мы пошли в Уфицци – к никогда не виданным до того Учелло, Ботичелли, Филиппо Липпи. Я хлопнулась на диванчик перед «Весной» и пыталась запомнить. Отошли, потом вернулись.

Мы облизывались на продающееся на каждом углу мороженое, на огромные стаканы с клубникой, полуутопленной во взбитых сливках. Но с деньгами так просто не расставались.

Флоренция бело-зелёно-розовая была летящей и счастливой, хотелось касаться руками мраморных стен, не уходить с Понто Веккио, где мы сидели вечером на мостовой среди многочисленного тогда хиппушного народа, несколько гитар звучали не в лад под сурдинку...

Но на следующий день мы всё-таки уехали в Падую. И там бродили такой бархатной южной звёздной ночью, какой, кажется, раньше я и не видела. И не удержались – сели за столик, съели мороженое.

Утром по дороге на вокзал мы зашли в башню Джотто – и опять улетающая вверх прозрачная цветовая радость – синее, зелёное.

А потом на поезде – через лагуну, бормоча: «Размокшей каменной баранкой в воде Венеция плыла», – только вместо «в воде» само собой бормоталось – «ко мне».

2008-ой

Оглушительно в Венеции выйти с вокзала на площадь – вдруг оживают звуки: плещет вода, люди разговаривают, вилки стучат в соседней trattoria. Отсутствие шума машин усиливает звучность мира.

...Ветер, который в Триесте задувает с моря в улицы так, что зимой приходится держаться за натянутые вдоль тротуаров канаты, приходит в Венецию еле заметным настойчивым постоянным давлением воздуха на нос и щёки.

Деревня – 60 тыщ населения из когдатошных 160-ти. Очень много собак – гуляют среди камней, жизне-радостно машут хвостиками, хвостами и хвостиками, внюхиваются в трещины между плит, в пучки вылезавшей травы. Утомлённые дворцы лупятся на глазах, мелят кожу под ледяным зимним солнцем.

Пустые улицы, пустые площади. Завтракали мы бутербродами – на крыше Сан-Марко. Осознательно помню тепло, ветерок, мы сидим, к чему-то прислонившись тёпло-каменному, жуём. Я ещё и закусываю бутербродом таблетки от головной боли.

У меня давние отношения с Венецией, начавшиеся в поезде из Вены в Рим в 79-ом, с синего прямоугольника с белыми буквами Venezia Santa Lucia – ночью на вокзале. Со стеклодувами в тёмных пещерах у Риальто, с домашним вином, напоминающим Изабеллу, в какой-то траттории после разговора с беззубым итальянцем про русский плен, с карельскими комарами на Лагуне, с ночёвкой в спальнике на площади перед вокзалом и утренним полицейским, хлопающим в ладоши над не желающими вставать, с ночёвкой на газоне около via Garibaldi, утром дышащими в ухо собачьими носами, с завтраком на крыше Сан-Марко и отчаянно болящей головой...

Тогда в Венеции водились настоящие стеклодувы. Они обитали в тёмных пещерах недалеко от Риальто и надували щёки, и дули в тонкие трубки, а на кончиках трубок плясали звери, бабочки, бусины.

На набережной у Сан-Марко на стойках бесконечные разноцветные бусы – коралловые, стеклянные, – как же было обидно, что нет денег, как хотелось купить и послать в Ленинград – но не на что.

На Риальто в мае уже продавали персики – мохнатые. И Бегемот, услышав недовольную фразу от рыночницы «Non si tocca», непринуждённо ответил «non si tocca, non si compro».

Тут же фонтанчики, чтоб фрукты мыть.

Картины в тёмных холодных церквях.

Дальше поехали в Верону – от неё у меня почти ничего не осталось, ни с того раза, ни с нескольких следующих случайных. Верона и Верона.

Ездили мы дня четыре, не больше.

А когда вернулись в Рим, решили, что зря тратим деньги на гостиницы, – у нас с собой, в наших скудных пожитках были венгерские спальные, очень в те времена в Ленинграде популярные.

Не знаю уж, что нас подвигло на то, чтоб не запихивать их в дальний багаж, а иметь при себе – но они позволили нам ночевать прямо на улице.

И вернувшись с севера, мы через несколько дней, захватив с собой спальные, отправились на юг с твёрдым решением – гостиницами пользоваться по минимуму.

Неаполь я не полюбила. Была там, кажется, раза три, и не испытала сродства. В голове у меня смешались все туда приезды.

Что же было в тот, в самый первый раз?

Наверно, это тогда мы отправились на песчаный грязноватый пляж Санта Люцию – Робертино Лоретти – юный, звонкий был ещё так недавно, только что народ в России радостно распевал «Чья майкааааааааа». Так что без Санта-Люции – никуда. Пожалуй, впервые именно там я увидела не такое редкое в Италии зрелище – обиталище мафучки за толстым каменным забо-

ром, поверх которого битое стекло наклеено – остриями вверх.

И ещё Неаполь – через уличные пробки с диким ором и визгом пробирается скорая помощь, а в хвосте, вцепившись, несколько машин.

Когда в 84-ом мы с Джейком были в Неаполе, мы приехали туда вечером в воскресенье – повсюду валялся мусор – упаковки, огрызки, – пахло помойкой, и ветер гонял засаленную бумагу по тротуару.

А утром мы вышли на улицу, где всё чудесным образом преобразилось – город превратился в огромный восточный базар – лукавый, весёлый, полный обманщиков, – воскресный мусор – это были не убранные из-за выходного следы рыночной жизни.

Крики, баснословно дешёвые цены, хрипящие торговки. Конечно же обвешивали там и обсчитывали, – когда мы покупали помидоры за какие-то смешные вовсе-не-деньги, даже по сравнению с обычной ничтожной ценой овощей, – мы увидели, что нам их изрядно недовесили – и Джейк сказал – слушай, ну, пусть же они получают удовольствие, эти торговки, – как же можно лишить их счастья нас хоть чуть-чуть обмануть.

Из Неаполя в 79-ом мы съездили в Помпею. Там я с тех пор не была.

*Шуршанье ящерок по солнечным камням,
И плющ, как плащ,
под сонным ветром чуть упрямя.
В осколках солнца мозаичные полы,
В пилястрах розовых зеленовата тень,*

*И через трещины классических затей
Шалфей пробился и лаванда и полынь.*

*Сметает ветер листья с мраморных собак,
Раздует каменные складки белых тог,
Какой-то надцатый, а всё же римский бог
Вдруг подойдет и спросит,*

что мне здесь не так.

*На фресках люди все чужие... Только тут
И с ними можно пообщаться тишиной,
Хотя они, всего вернее, не поймут,
Что не Империя за белою стеной –
Живые травы между мраморных лачуг,
Полусухой чертополох у входа в храм...*

*И только море не меняется ничуть,
И виноградники лопочут по утрам
Как при Антонии...*

79-ый

Мраморные собаки и ветер, и шорох сухих листьев.

А потом мы уплыли на Капри – и опять смешалось всё: на Капри я была тоже раза три – собственно в Неаполе всякий раз оказывалась, чтоб отправиться на Капри. А больше я туда не поеду – зачем? Прекрасный остров, ставший туристской игрушкой, – к счастью на Средиземном море столько ничуть не худшего и не затурищенного.

Но тогда – Анакапри – игрушечный опереточный городок-декорация – ночью под крупными звёздами.

Тропа в гору. И с вершины холма – заросшие склоны и море – сияющее, волшебное – родное. Одно из сильнейших итальянских ощущений того времени – найденная прародина – при всём моём незнании истории, при том, что античность для меня – миф об аргонавтах и 12 подвигов Геракла в пересказах Льва Успенского – в Италии я всё время ощущала – я оттуда, впервые в жизни и очень остро – цивилизация наша, наши представления о прекрасном – с этих берегов...

ВАРИАЦИИ

1.

*Видно, все мы у Господа Бога
Корабли, ушедшие в море,
Где не вычерчена дорога
И голос не тонет в хоре,
Корабли, плывущие вольно
От той весёлой земли,
Где средиземные волны
Гекзаметры изобрели.*

*Эти ритмы
всё чего-то требуют,
Катят, катят к жилищам богов
Курчавые белые гребни
Долгих ударных слогов.
А волнам и ритмично, и вольно
Мимо зелёной земли...
Только зачем вы, волны,
Одиссею изобрели?
И так уж немыслимо много
Дурацких и грустных историй...*

*Все мы у Господа Бога
Корабли, ушедшие в море.*

2.

*А может, правда, что где-то
Есть ещё догреческий Крит,
Там, на середине света,
Где море всегда искрит,
Где можно, начав с эпилога,
Дойти до истока истории...
Видно, все мы у Господа Бога
Корабли, ушедшие в море...*

1994 г.

Когда мы были на Капри с Джейком, мы приволокли на гору бутылку отличного кьянти и там её выпили, – Джейку казалось – необходимо – отпраздновать эти скатывающиеся в блеск и синеву склоны.

А в 79-ом мы расстелили наши спальники у причала в Marina Grande.

В последний раз я была на Капри в 87-ом с Борькой Ф., – мы тогда без спальников растянулись ночью на плоских скалах над водой – и к утру подмёрзли.

И в какой-то приезд на Капри я была в Лазурном гроте – наверно, не в тот первый, вряд ли в 79-ом мы бы решились потратить на это деньги. Хитрый беззубый неаполитанец повёз нас на лодке, и в цену входило хриплое пение «Санта-Лючии». Лазурный – он и вправду лазурный, феерический голубой свет заполняет его. Но теперь-то я знаю, сколько на свете лазурных гротов – например, совсем маленький гротишко в массиве Эстерель, куда лодке не заплывать вовсе, туда только в маске

можно, и если нет больших волн, а потом маску сдёргиваешь и оборачиваешься – качаешься в голубом с золотыми прожилками воздухе.

С Капри мы уплыли в Сорренто, потому что в нашем итальянском «Мишлене» прочитали, что будучи в тех краях, грех не проехаться по прекраснейшей дороге из Сорренто в Салерно – по берегу между морем и скалами, ну, а ещё и Робертино Лоретти пел – «Вернись в Сорренто».

Мы заночевали на выезде из городка, прямо под большой дорогой, на удобном откосе, и ночью нам на головы скатилась банка из-под кока-колы, выброшенная из какой-то машины.

Утром сели в автобус и поехали в Салерно. Справа под обрывом слепящее бутылочное море – вот ведь удивительно – море на юге Франции и севере Италии чаще синее, а там, южнее Неаполя, – зелёное.

Слева – довольно вертикально – то склоны, густо заросшие, то скалы. А растут, в основном, лимонные деревья – светлые огромные лимоны на фоне глубоко тёмных листьев.

От городка к городку.

Амальфи – с византийским собором. Там мы с Джейком в 84-ом сняли комнату в большой путаной квартире у какой-то тётки, жили там с неделю – плавали с маской с маленького пляжа, к которому долго спускались с холма, – из тени в ослепительный свет, – чтоб не ходить на песчаный городской, где была, естественно, уйма народу.

Позитано – яркие черепичные крыши террасами – там Стейнбек любил жить.

Итальянские шофёры гоняли по неширокой серпантинной дороге – с посвистом. Где-то в начале пути,

недалеко от Сорренто, перед нами вдруг возник огромный датский автобус. Сначала он тихо-тихо полз, а за ним гудели на все голоса. Потом остановился – ни вперёд, ни назад. Я очень хорошо представила себе панику датского шофёра, впервые оказавшегося над обрывом. Итальянцы повыскакивали из машин и отправились помогать. Они махали руками, показывали, куда руль вертеть, и через несколько минут совместных усилий загнали автобус под скалу, в такое углубление возле дороги, аварийный паркинг. После чего все разбежались по машинам, включая нашего шофёра, и разъехались по своим делам. А датчанин остался стоять – до конца света? Ну, во всяком случае, когда мы с Джейком через пять лет оказались в Амальфи, датского автобуса там не стояло.

Из Салерно мы уехали на поезде в Рим.

Шли последние дни. Деньги Хиас мне заплатил ещё до поездки на юг, и больше, чем мы рассчитывали, – по письму моего доктора, который сообщил, что я работала целыми днями, а не половинками, как считалось сначала. Надо было купить подарки и отослать их бандеролью в Ленинград.

Мы отправились на дешёвый рынок у Porta Portese. Приобрели джинсы, и не одни. Кстати, тогда девицы носили невероятно обтягивающие джинсы – говорили, что оптимальный вариант их надевания – девица ложится на спину, один мужик тянет за молнию, другой пытается стянуть их на поясе.

Вот такие и купили.

А потом пошли в английский книжный магазин – внизу у ступенек piazza di Spagna.

Ну что может быть бредовой покупки английских книг в Риме перед отбытием в Америку? Да ещё, чтоб в Россию их послать? Среди нескольких купленных книг (глаза разбегались – естественно, мы хватали известных нам авторов, у которых в переводах существовали одна-две книжки) был какой-то роман Апдайка, – а на обложке почему-то голые титьки. Эту книжку на таможне конфисковали – небось, в личное пользование.

За пару дней до отъезда мы ещё раз съездили во Флоренцию. Всю ночь просидели на ступеньках собора и вернулись в Рим первым утренним поездом.

Есть в Риме места, где я с 79-го не была – ни на станции Тибуртина, ни на станции Трастевере. И, наверно, приснился мне памятник, которого я никак не могу найти – современный памятник Франциску Ассизскому – мне кажется, что на протянутой ладони у него голубь, ноги босые, капюшон на голове – и стоит он возле собора San Giovanni in Laterano рядом с рынком – но рынок на месте, а Франциска нету, – и кто теперь поверит, что памятники не гуляют по крышам...

Кстати, о памятниках. Бегемота после жизни в Ленинграде, после знакомства с Веной и с Римом посетила мысль об инсталляции – а если свезти из всей Европы всех дядь на лошадях, поставить их в ряд в пустыне Сахара – и любоваться на всю эту красоту с вертолёта...

Конец мая. Жара. Спали мы на балконе. По вечерам сидели у фонтана Треви, или под аркадами площади Республики слушали сладкие шлягеры...

А 4-го июня – аэропорт, самолёт – Нью-Йорк...

Первое, что мы увидели, снижаясь над Нью-Йорком, – это огромные машины, ползущие по широким дорогам. В тогдашней Италии машинки бегали крошечные, игрушечные. А тут – мастодонты. Потом почти все мы, свеженькие эмигранты, обзавелись чудищами погромადней – машинами выпуска 60-х. В 79-ом американские машины как раз стали уменьшаться – был первый нефтяной кризис, поэтому бензин люди начали экономить – машины сделались меньше, появились неавтоматические коробки передач, скорости на дорогах ограничили до 50 миль в час.

А старых гигантов один мой знакомый профессор-славист называл еврейскими байдарками – за 100 долларов можно было приобрести какого-нибудь пукающего прихрамывающего на одно колесо старичка – их покупали эмигранты, аспиранты и прочие безденежные люди.

Часть наших попутчиков по самолёту в Нью-Йорке встречали друзья. Завидно было остро, почти до слёз. В голове проносилось – ты выходишь из самолёта, и кто-то родной бросается к тебе. Мы были среди тех, кого встречали только представители Найяны – американской еврейской организации, которая вслед за ХИАСом подхватывала эмигрантов.

Нас отвезли в гостиницу, откуда на следующее утро должны были забрать и отправить на самолёте в Провиденс.

В Провиденсе в аэропорту нас встретила средних лет сурового вида женщина Мира из Риги, работавшая в местной еврейской общине.

Она очень чётко держала дистанцию, а мы, небось, хотели, чтоб нас в гости позвал кто-нибудь...

Миранта отвезла нас в снятую для нас квартиру. Сейчас-то я понимаю, как нам повезло – длинный двухэтажный многоквартирный дом с опоясывающим балконом был в двух шагах от кампуса. А тогда мы ехали по пригороду, некрасивому однообразному пригороду – двухэтажные дома без особых примет, перед ними газоны, огромные машины припаркованы у тротуаров, пешеходов нет. Приехали.

Станция отправления Ленинград – станция назначения Провиденс.

Душная мокрая летняя ночь. Затерянность.

Когда мы переехали в Америку, в город Провиденс, когда предыдущая жизнь уже закончилась, а новая ещё не вполне началась, и я ныла про себя, что нет более дикого действия, чем променять город Ленинград на город Провиденс, я растравляла себя самыми разными картинками – иногда я представляла себе со сладкой тоской вечную лужу около овощного магазина на Детской улице, я мысленно обходила её, заходила в магазин, где зимой продавали несусветно грязную морковь, большие и мягкие огурцы в бочке, кислую капусту «провансаль», а если повезёт, то и редьку. Обходила лужу, заходила в магазин, потом бежала домой через продутые дворы...

«Время и место» – правильно Трифонов свою последнюю книжку назвал.

Ну, это, наверно, самое тяжкое – лето 79-го... Вообще первые годы в Америке, когда жмёт повсюду. И при этом я очень довольна, что через Штаты прошла – и английский язык, и опыт, – много какого понимания бы не было иначе. Уж не говоря о совсем личном, о Джейке. Ну, и конечно, я гораздо терпимей к Америке, глядя на неё издали.

На самом деле, в начале восьмидесятых я не очень-то радовалась жизни...

Я активно не полюбила Америку. Всё время натывалась на чуждые формы существования и на зияющие отсутствия.

Я тосковала по Европе, по старым городским камням, почти физически тосковала. И вопрос одной нашей знакомой после того, как мы вернулись с европейских каникул: «Вы камни гладили?» – звучал естественно.

И этот европейский пейзаж, знакомый по Эрмитажу, по импрессионистам на третьем этаже, по итальянцам в голубой дымке, по голландским одиноким тоскливым деревьям, хватал за плечо ещё по дороге из аэропорта в Париж ли, в Брюссель – мимо огородов, так похожих на советские.

И общение американское казалось пресным, каким-то не главным, без «смысла жизни», о котором как не поговорить. Упорядоченной как газоны, на которых не разрешалось жить одуванчикам, казалась жизнь.

Ну, всё это у ранне-эмигрантского Бродского – «в те времена, в стране зубных врачей», «и если б здесь не де-

лали детей, то пастор бы крестил автомобили», и много ещё... Тосковала по друзьям, сидящим в Ленинграде в отказе.

Главным событиям дня был приход почты. По субботам в ожидании почтальона мы всё утро ходили к ящикам, и иногда с ним возле ящиков сталкивались, и вглядывались в пачку писем в почтальонской руке, пытаясь углядеть полосочки советских авиаконвертов. А в будние дни, возвращаясь в середине дня из школы, где я работала, я перед тем, как открыть дверь, через окно глядела на наш кухонный стол – мы жили на первом этаже, на уровне улицы, входная дверь открывалась на кухню, и на стол Бегемот, уходя в университет уже после того, как нас посещал почтальон, выкладывал письма. Перед тем как искося заглянуть в окошко, я аж зажмуривалась, – и душа бултыхалась где-то в горле.

Опять Бродский: «Здесь снится вам не женщина в трико, а собственный ваш адрес на конверте» ...

В 79-м году уехавшие за три года до нас казались ветеранами. Поверить было трудно, что наступит когда-нибудь день, когда и мы проживём за границей три года, целых три года! Люди за три года успевали забыть, сколько стоил батон в булочной.

Я до сих пор, впрочем, помню, что самый дешёвый и невкусный был за 13 копеек. Батона этого больше нет, и у людей, никуда не уезжавших, было столько же возможностей забыть его цену, сколько и у меня.

Я ненавидела советскую власть как ленинградскую зиму, как данность, с которой ничего нельзя сделать, от которой можно только уехать.

Мы жили хорошо и весело, читали нелегальную литературу – хранили и распространяли, всерьёз не пугаясь – времена были достаточно вегетарианские.

Меня знал из России инстинкт самосохранения, чётко подсказывавший, что оставшись, – я останусь окололитературной бездельницей, полукультурной недоучкой. Что завтра будет таким же, как вчера, как сегодня...

Мой инстинкт знал.

Я бы очень удивилась, если б мне тогда кто-нибудь сказал, что моя родина – это язык, что я люблю другие города больше Ленинграда, и другие пейзажи больше Карельского, и только никакой язык не станет, как русский...

И ещё – мне очень нравится быть немножко внутри и немножко снаружи: эта пограничность, которую даёт эмиграция, срабатывает, высекает искру. Если, конечно, удаётся роман со страной, где живёшь...

Любое перемещение в пространстве в место, где продолжает жить кусок собственной жизни, – и оказываешься нос к носу с временем.

Видишь тётенек на улице, кажется, они старше тебя лет на сто, ведь ты сам-то такой же, как те самые сто лет назад, а когда вдруг в какой-нибудь бумажке увидишь

чёрным по белому свой возраст, не год рождения, а именно возраст, твёрдо знаешь, что это не про тебя. И пытаешься представить себе какую-нибудь тётеньку девочкой, своей возможной одноклассницей, и не можешь.

А как наша личная память входит в общую память человечества? Какими ручейками в реку?

Рассказываем чего-то кому-то, вон даже пишем. Клочки чужих воспоминаний перемешиваются с собственными. И на каком-то уровне память становится общим местом, и так хочется, чтоб не уходило личное.

Странное всё же желание чему-то принадлежать, и так принадлежим, больше, чем надо.

Казалось бы наоборот – личное, только своё – но оно так сильно размывается временем, в воспоминаниях всегда столько совпадений...

И на какой-нибудь твой день с особенным закатом найдётся чужой такой же.

Папины рассказы про то, как до войны мальчишки бегали по улицам за машинами, кричали «мотор», у И. Грековой старый профессор в личных записях вспоминает, как на аэродроме он однажды попал в струю авиационного бензина, и это было то самое – из детства.

Бабушка, выросшая в местечке Колышки под Витебском, рассказывала, как на Пасху их неверующая мама тайно от верующего папы, давала детям хлебушек.

На всех нас страны, где мы живём, несомненно оказывают огромное влияние – а в силу того, что возникли площадки для общения, в том числе с незнакомыми в реале людьми, на-

чал складываться странный географически разбросанный этнос – русские американцы встретились с русскими французами, с русскими израильянами, русскими немцами, итальянцами, канадцами, швейцарцами, австралийцами, англичанами...

А любопытная социологическая тема – влияние среды обитания на человека, поменявшего место жительства... Возникновение этноса вне географии – по языковому и происхожденческому принципу...

В городе, в котором я больше не живу, зимой к концу первого урока тьма за окном становится тёмно-синей. Замерзает река, и можно обойтись без мостов.

В городе, в котором я больше не живу, иногда показывают наводнения, и если повезёт, отпускают с последних уроков, и бежишь на набережную, чтоб повисеть на садовой решётке, глядя, как автобусные колёса рассекают мутную воду.

В городе, в котором я больше не живу, стоят двое Свинств, и я так и не смогла понять, почему у них нет пятак и есть львиные лапы. Однажды в Америке их увидел на картинке египетский приятель Али и воскликнул горестно: и ваш царь тоже вор!

В город, в котором я больше не живу, весну прикапывают в серебряных бочках толстые тётеньки в платках и в грязных белых передниках – по доброте они соглашаются налить квасу на две копейки, если трёх не

находится. А потом идёт ладожский лёд, вздымая реку горбами, и цветёт черёмуха.

Трамвай в городе, где я больше не живу, приветствуют издалека топчущихся на остановке людей – двумя огнями сияют – у каждого свои – у сорокового, который ходит в школу, два зелёных.

Если 19 копеек в кармане, то в кафе из железной вазочки можно съесть алюминиевой ложечкой (мечта Веры Павловны!) два шарика мороженого, а если вдруг в кармане на две копейки больше, то его польют вишнёвым сиропом. У метро продают шоколадные батончики за целых 28 копеек. Если повезёт, мороженое под шоколадом земляничное. И ясно, что осталось потерпеть ещё каких-нибудь десять лет, и можно будет каждый день есть его вместо супа и второго!

В городе, в котором я больше не живу, в зимнем овощном магазине на каменном полу натекают лужи, и пол присыпают опилками, и продают из бочек капусту «провансаль» с виноградинами, и мягкие мятые пахнущие плесенью солёные огурцы.

В магазине «диета», открытом до одиннадцати, в который заходят после филармонии, продают селёдочное масло и шоколадное тоже. И однажды на наших глазах отказались отрезать 100 грамм сыра от небольшого оставшегося куска незадачливому иностранцу, но отрезали нам, потому что мой приятель гордо сказал: я свободный человек свободной страны и имею право на сто грамм сыру!

В городе, в котором я больше не живу, почти год я каждый день на Театральной площади выпивала чашку кофейного цвета бурды из железного бачка и съедала зе-

фирина в шоколаде после того, как два часа мыла полы и вытряхивала железные урны в оперобалетном театре.

В городе, в котором я больше не живу, в магазине на Малом проспекте папа однажды купил людоедские консервы: кит с горохом.

В городе, в котором я больше не живу, стоит Ленин на броневике возле Финляндского вокзала. А под стеклянным колпаком паровоз, на котором Ленин приехал делать революцию.

В электричках зимой талое месиво на полу и пахнет лыжной мазью.

И среди многих лениных один – на Московском проспекте, с протянутой рукой напротив гастронома, и есть ракурс, который не сразу найдёшь, но коли найдёшь, – под каменным пальто угадаешь бугор вздыбленного ленинского хуя.

В городе, в котором я больше не живу, в Эрмитаже огромный бородатый Зевс на троне упирает скипетр в пол, под деревянной лестницей хороводит танец Матисса, с итальянской картины смотрит из-под арки на тебя молодой человек в бархатном берете – папа уверял, что это Меркуцио собственной персоной. А на третьем этаже бархатный диванчик перед мостиком через пруд – на стене, а за окном внизу огромная площадь с аркой Главного Штаба.

В городе, в котором я больше не живу, чёрная рука идёт по лестнице, вот она уже на четвёртом этаже, а я на пятом, – и нет дома родителей!

А если зимой в эпидемию гриппа садишься на подоконник и открываешь незаклеенное окно во дворколодец, когда никто не видит, то заболеть всё равно не удаётся.

Трамваи в городе, в котором я больше не живу, днём собираются на кольце в стаи, а ночуют в трампарке Блохина или, может быть, Леонова. А карточка, чтоб месяц ездить хоть по рельсам, хоть по асфальту, стоит 6 рублей, и если порастратился к концу месяца, их приходится одалживать.

В городе, в котором я больше не живу, пышки кольцом с дыркой посредине и присыпаны пудрой, а пончики без дырки и с повидлом.

В городе, в котором я больше не живу, спиной к реке мореплаватель стоит, как философ, а за рекой, где портовые краны, написано огромными буквами на стенке, уходящей в воду, – «ТИХИЙ ХОД» – не разгоняйтесь, значит, корабли.

В июне в городе, в котором я больше не живу, цветёт сирень, сирееееень, сирееееееень...

Идти вечером по Парижу – как в чужие освещённые окна глядеть.

Вот два пожилых джентльмена за стеклом кафе – о чём беседуют за стаканом красного? На одном белый шарф, на другом синий. Палка с набалдашником к стулу прислонена.

А вот этот немолодой человек – тянет одной рукой заглядевшегося в лужу мальчишку лет пяти, а другой – спаниеля с головой повёрнутой назад, вслед чёрно-белой бульдожке. Папа, или дедушка?

Прошёл некто в крылатке пушкинских времён, но без цилиндра. Где одёжку раздобыл?

Тридцать лет как иду, двадцать? Стучит метроном.

Вновь приснились лыжи в Сосновке,
Петербургских лесов клочки,
Да трамвай, что скрипя и неловко
Проползает вдоль снежной реки...

Оторвись от белого круга,
Заберись – уж в который раз! –
В карнавальные зимы юга,
В те, где снег – лишь калиф на час,

Впрочем, он и на час не властен –
Сникнет весь перед рыжей сосной,
А дождей и туманов напасти
Все останутся за спиной!

Растворится тень памяти, гложущей
Без неё обглоданный век,
И полоски цветов придорожных
Отряхнут с брезгливостью снег,

Запестрят над тёплым асфальтом –
Чуть их ветер морской позовёт –
Тут же станет омега альфой:
Фильм закрутится наоборот.

Что ж, вернись к этим фильмам старым,
Перелистывай жизнь, шурша:
Ни базарам и ни хазарам
Ты не должен давно ни гроша, –

И окажется завтра не страшным,
Как обросший кувшинками пруд,
Как февральский, бледней светлой яшмы,
Первой робкой травы изумруд.

14 декабря 2012

Я ездила в гости в 20-ый район – там сочетаются Paris populaire и дорогие замечательно построенные новые дома. В гостях я была как раз в таком доме – стометровая терраса на крыше – оливковое дерево, розы, олеандр, клубника, малина, травки, помидоры, огромный стол под зонтиком, мы жались к нему под дождём, очень уж не хотелось уходить в комнату, детский надувной бассейн и крыши-крыши, изредка пупыри высоток.

На соседней улице жужжащая толпа, открытые лавки, негритянки в ярких тряпках.

Я часто болтаюсь по городу, но с тех пор, как живу в пригороде, – естественно получается, что в красивых местах.

А вот в такое разное-несуразное-парижское попадаешь только, когда там и живёшь. И это зря. Вот поеду как-нибудь гулять к монтрёйской мэрии – у метро пустая деревенская площадь с платанами, вокруг улей улиц.

Кстати, на Монмартре – отойдёшь от туристских муравьиных троп – нетронутая деревня. И бабушки в домашних тапочках приходят в кабаре Lapin Agile (Ловкий Кролик) – слушают зачастую потрёпанных и облезлых вытупающих, подпевают песенкам 50-летней

давности, не обращая никакого внимания на японцев за соседним столиком.

87-ой

В 1987-ом году в сентябре мы с Бегемотом искали в Париже квартиру. Бегемот получил временное профессорское место для иностранцев в университете Paris 6, в Жювьё, а я поступила на третий курс факультета информатики в том же Жювьё. Людей, у которых уже было какое-то высшее образование, брали прямо на третий курс. Нас «взрослых», старше 30-ти, оказалось человек десять. В основном, учителя математики.

Мне было 33. Я только что с мясом отодрала себя от Джейка, – глядя из будущего, единственная логика нашего разрыва, – в той цепи последующих случайностей, которая столкнула нас нос к носу с Васькой.

Ну, а тогдашняя логика моего ухода – открылась Россия, а с ней старые связи – со всей новой остротой. Вынести это Джейку, к тому же не говорившему по-русски, было не под силу. И в поставленном ультиматуме я выбрала не его, а собственную жизнь.

Смутное мерещилось – уйти сейчас, а то брошу на глубоком месте, когда совсем нельзя...

Бывает семейная жизнь гетеросексуальная, гомосексуальная и внесексуальная. Мы вполне удачно объединились с Бегемотом – жизнь вместе, а романы врозь.

Квартиру мы нашли – у грека с турецкой фамилией, кончающейся на оглу. На rue du Caire – улочке, прилегающей к блядской магистрали Saint-Denis. Надо сказать, что эта парижская блядская магистраль очень

домашняя, уютная. Я неоднократно возвращалась по ней домой в середине ночи – пешком из Жюсьё – в те времена компы дома были роскошью, и работать приходилось в универе, причём лучше всего ночью – днём нас там было слишком много, и тарахтелка-компьютер, как старенький пыхливый паровоз, то и дело испускал вздох последнего изнеможения и затыкался до реанимации. Ну, а даже если жив был, нас за терминалами столько восседало, что сигнал доходил как до жирафов, и неоднократно получалось, что букву «а» напечатаешь, а потом ждёшь «б» ещё полчаса.

Так что возвращение ночью пешком из Жюсьё на rue du Saige было приятной обыденностью.

Нарядные бляди в сапогах и коротких шубках, в платьях до середины попы стояли, легко привалившись к стенкам. К ним время от времени подходили знакомые, с которыми они приятнейшим образом болтали.

Дружелюбно светилась самая банальная арабская лавка, из тех, что открыты, когда закрыты другие магазины, – там ночью можно было купить неотложную еду.

А когда однажды в каком-то кафе возник непредвиденный шум, ещё даже никакой не скандал, просто кто-то слегка голос повысил, полиция приехала в одну минуту. За блядской магистралью – глаз да глаз.

Ну а на соседних с ней улочках, вроде нашей rue du Saige, располагались, в основном, мелкие кустарные мастерские, да оптовые магазинчики всяких тряпок...

Наша квартира была на верхнем, не помню, каком по счёту этаже, по-русски, наверно, пятом. Поднимались мы туда по типичной парижской винтовой натёртой до блеска деревянной лестнице. На площадке под нами вечно была открыта дверь в квартиру, оттуда раздава-

лась арабская музыка, смешанная с какими-то производственными звуками – стрёкот швейной машинки, стуки. Там явно была одна из бесчисленных в этом районе мелких пошивочных мастерских. По натёртой лестнице скользили курчавые черноволосые люди с тюками на плечах.

Мы были уверены, что мастерские и оптовые магазины в нашем районе принадлежат, в основном, арабам. Пока не наступил Йом-Кипур – и всё затихло – ни стука, ни грюка – вот тогда-то выяснилось, что соседи-арабы – это марокканские евреи.

Квартира была маленькая – две смежные комнаты и кухня. Правда, побольше той, от которой, обливаясь слезами, мы отказались – та была на rue Bonaparte, и если из окна высунуться, то Нотр Дам видна – в общем, из Тэффи, из моего любимого рассказа «Разговор»: «Тут, конечно, двор, а вот если вы так до половины в окно высунетесь (только, конечно, держаться надо) и перевернётесь вот так, почти на спину, понимаете? – так вы сможете Эйфелеву башню увидеть. Большое удобство!»

Но, увы, чтоб видеть из окна Нотр Дам, надо было поселиться в стенном шкафу. Туда наши не такие уж немногочисленные манатки не поместились бы, и холодильник только самый крошечный втиснулся бы, вроде советского «Морозко».

Так что мы выбрали rue du Caire, где из окна видны серые ребристые парижские крыши со скособоченными антеннами, зато под окнами иногда шарманка, а по базарным дням – бляеньё – veeeeeeeerier-veeeeeeeerier – это стекольщик оглашал окрестности.

Однажды и вовсе чудо случилось. Бегемот с утра почему-то соловьём распелся и со странным репертуа-

ром – «Славное море, священный Байкал». А потом мы на ближнем базаре увидели гармониста, который исполнил ровно эту песню. Не мог Бегемот его слышать на нашем высоком этаже, да через две улицы...

Кстати, рынок там – один из самых симпатичных в Париже, – мощёная пешеходная rue Montorgueil – каждое утро торговцы ключами отпирали стоящие на мостовой зелёного цвета прилавки, на них наваливали груды сияющих фруктов-овощей. А по сторонам лавочки да забегаловки с плиточным грязноватым полом. Однажды после немалой вечерней выпивки мы с моей подругой Ленкой, приехавшей на выходные из Базеля, в такой пивнушке попросили утром по стакану вина, с диким хохотом осознав, что вообще-то это называется опохмелка.

Именно на этом рынке я влюбилась в корсиканские мандарины – грузинские, кислые из детства, перемешанные с тёмными глянцевыми листьями. Теперь-то всякие мандарины с листиками продают, а тогда только корсиканские.

А как-то раз во время карнавала в Рио прямо между овощных прилавков, под взглядом украшающей один ресторанчик огромной золотой улитки с вытянутыми рожками, плясали нарядные весёлые зазывные латиноамериканские ребята.

Что квартира нам очень сильно мала, выяснилось летом 88-го, когда повалили гости – самые первые люди из России.

Приехала на три месяца (по личному приглашению это максимальное разрешённое время) мама, повалили друзья.

Ахматова как-то сказала, что Венеции нет, и вот вдруг люди, которые жили всю жизнь, зная, что нет ни Парижа, ни Рима – ничего нет, кроме всей земли одной шестой, оказались на Западе в гостях...

Лето 88-го выдалось у нас праздничным. Я даже завидовала этому первому попаданию на Запад – в гости. Когда не эмиграция, когда не подмигивает из угла страх, не качает косматой головой вопрос: а-что-будет-через-три-месяца. Когда не надо приспособливаться и искать работу. А просто – карнавальная Европа, летний Париж.

Мы шлялись по улицам, стояли на мостах, глядя в рыжую воду, – и всё это лёгкое весёлое разноцветье, и музыка – хоть вытасченный на улицу рояль, хоть золотые трубы, хоть шарманки... И кораблики – те, что дети пускают в Люксембургском саду, и фенечки – те, что выросшие бродяги-по-миру при свете газовых ламп по вечерам продавали возле Сен-Жермен-де-Пре. Один такой бродяга – здоровущий, в пенсне и в смазных сапогах, что-то выдувал из стекла и обратился ко мне на вполне сносном русском.

Маме в Париже очень захотелось добраться до Васьки – своего старинного друга. Не без труда мы его отыскали, и они стали бурно общаться.

Незадолго до возвращения в Питер мама сказала нам, что Васька с Ветой, тогдашней его женой, работавшей, как и Васька, на радио «Свобода», и пишущей стихи под псевдонимом Виолетта Иверни, хотят найти жильцов в свою медонскую квартиру. Переехав в деревенский подпарижский дом, свою удешевлённую квартиру они за собой оставили – Васька уже тогда считал, что он через некоторое время туда вернётся.

Нам, во-первых, нужна была квартира побольше, а во-вторых, Бегемот хотел уехать из центра Парижа, потому что алкал свежего воздуха.

Надо сказать, что в желании дышать свежим воздухом Васька и Бегемот всегда были заодно – а меня парижский воздух вполне устраивал.

Ну, и платить за квартиру нам хотелось бы меньше, мы жили тогда на одну бегемотскую зарплату, и жалко было выкидывать на жильё больше, чем это необходимо.

Уже после маминого возвращения в Питер Васька с Ветой повезли нас смотреть квартиру. Мы ехали на машине через лес в ноябрьской тьме, Васька за рулём жестикулировал, болтал.

На квартиру особого внимания мы не обратили – квартира и квартира, – трёхкомнатная...

Переехали.

В первый наш вечер в Медоне я возвращалась одна из университета. Доехала на Рере до станции – маленькие домики, садики, пригородный симпатичный посёлок. Вокзальчик – кокетливый в духе «прекрасной эпохи».

Оттуда десять минут на автобусе через лес. И вот вышла я, подошла к автобусной остановке, и такая глухая тоска навалилась – вот как когда в Америке я говорила – сменила Ленинград на Провиденс...

Пригород, тишина... Может, и поют птички, но что мне до них... Такая тоска по парижской жизни, по столикам на улице, за ними народ сидит, пиво пьёт, или вино; шаркают шагами...

Автобус подошёл...

Зашла я в чужую квартиру уже когда стемнело. Какая ж она была чужая, собственные коробки, которые смертельно лень распаковывать, и глухая тоска – как же не хочется тут жить...

Скажи мне кто-нибудь, что именно эта квартира станет мне домом, что я буду жить в ней дольше, чем в любом предыдущем жилье – как бы я изумилась... С 88-го с перерывом меньше, чем на год, когда в 90-ом Васька вернулся к себе, а мы с Бегемотом съехали в другую квартиру в Медоне... А в 91-ом я стала жить с Васькой...

Дом – наверно, второй настоящий дом в моей жизни – первый был в коммуналке на Шестой линии – до 18 лет...

В подростковой ленинградской тоске можно было выйти на набережную, и кричал чёрный буксир «посредине реки, исступлённо борясь с темнотою». И рукой провести по шершавому граниту.

В ленинградском щенячестве можно было карабкаться на пьедестал Ростралки.

Родились и выросли – «в балтийских болотах».

Я как-то спросила у Васьки, сколько километров от Парижа до Питера, и он ответил «три тысячи». А потом добавил: «Подумать только, я бы в семидесятые мог съездить в Питер на велосипеде, если б не было границ – в Пицунду же ездил...»

Жизнь строится из чепухи, из картинок, отпечатавшихся на сетчатке. Из интонации, из фразы, засевшей где-то в подсознании, и вдруг выпрыгнувшей в самый неожиданный момент. Жизнь строится из неверия в смерть...

Из просвеченных насквозь пятен, которые цепляясь друг за друга, создают прерывистую непрерывность повседневности.

Начало 90-х

В первой половине девяностых мы иногда заезжали в русский сквот.

Первый известный мне располагался на улице Жюльет Додю возле площади Республики в здании старой фабрики. Сквотам вечно приходится переезжать, их же иногда разгоняют, – владельцы земли, помещений, или попросту городские власти в один непрекрасный для сквотчиков день говорят: «баста, валите, ребята, подобру-поздорову». Ребята и валят, иногда после решения суда, иногда после того, как приходят поутру бульдозеры...

Тот первый сквот, собственно, единственный, где мы относительно регулярно бывали, был, как мне кажется, приличней прочих – но конечно же, и там лилось рекой дешёвое, как Васька говорил, клошарское вино, конечно же, и там посторонний человек с интересом думал, а как тут вообще живут, в этом вечном пьяном празднике, ну и опять же – зачем окурки на пол кидать.

На самом деле, жили в сквоте немногие, – чаще всего жили сквотеры у себя в квартирах, а в сквоте у них были мастерские – всё же этот способ божественного существования был больше всего свойственен художникам...

В питерской-московской жизни 70-х, когда непечатных поэтов и невыставляемых художников стали звать второй культурой, поэты с художниками очень активно перемешивались. Но в Париже в девяностые художники сильно преобладали – может, потому, что в праве на отъезд они приравнивались к евреям.

Встречались среди уехавших художников и люди отнюдь не богемные, вот Оскар Рабин например. Он жил под Монмартром на улице Северного Полюса, и на его тревожных картинах, которые после его отъезда в Париж стали куда ярче, куда радостней, куда живей, часто стали появляться слова «Rôle Nord» – в честь собственной улицы, – вместо прежней мёртвой селёдки на газете. Потом Рабин с женой Валей Кропивницкой, невероятно тихой милой женщиной, писавшей доброжелательных нежных зверей, с которыми всякий познакомиться захочет, переехали в квартиру-мастерскую возле Бобура, – её им город предоставил. Рабины в сквотах, мне кажется, даже почти и не бывали.

А вот Хвост тесно связан со сквотами. Жил он у себя дома, но во всех сквотах были у него мастерские. Писал он какие-то невразумительные комбинации железак. И, кажется, неплохо их продавал. Естественно, иногда он в сквоте гитару тоже брал, – но всегда вокруг было слишком много выпивки, хэппенинга, иногда и отношения бурно выясняли... Так что особой радости от того, чтоб в сквоте его послушать, не было.

Ваське всегда становилось там скучно, мне было по-забавней, но в целом не наша была это среда обитания.

Про сквот возле площади Республики ходила легенда, что когда ребят стали с судом оттуда выселять, первое слушанье дела перенесли – народ так громко галдел по-русски, что у судьи заболела голова.

Вглядываюсь не в прошлое, – в это моё настоящее девяносто первого года разлива – ка-

**жется, что-то изменится в моём мире, если
вспомню дословно я дни, болтовню, прогулки...
Ну, а дальше – один мир, другой мир, пересече-
ния, входящие друг в друга мыльные огромные
изменчивые сияющие пузыри...**

В Париже иногда встречаются шарманщики – изредка даже у нас с улицы донесётся в окно старый сжимающий горло вальс.

Но чаще шарманщики стоят где-нибудь в центре, на каком-нибудь углу, – медленно ползёт перфокарта... И не отойти.

*Шарманщик стоит на углу у Мадлен,
Хриплые вальсы крутит
В калейдоскопе окон и стен,
И голых платановых прутьев.
Сидит на шарманке дымчатый кот,
Рыжая такса зевает и ждёт...
Тяжёлый старинный сверкающий вальс
Крутится над головой –
Он – не для нас и не для вас...
Стой, постой, постой...*

*Жёлтым высвечен Эйфель – он косится вдаль,
И соломенным кружевом кажется сталь,
Над мостами – пунктирные дуги огней,
Под мостами – кружащийся отсвет теней,
И тяжёлый, как Сена, сверкающий вальс*

И ещё в метро – в парижском зоопарке появился ламантин – я про него только в «Таинственном острове» читала.

Карусель «морды все к хвостам» – а я вспомнить не могу, маму мы покатали? Ей же так хотелось... Важные вещи из головы вылетают.

Когда я приехала в Париж жить, а не на каникулы, в метро часто попадались плакаты – в серой гамме с наползающими друг на друга крышами – и написано было «Paris est un carrefour» (Париж – это перекрёсток).

В самом деле так – «какая смесь одежд и лиц, племён, наречий, состояний», и мы получаем свою долю – самые разные наши знакомые и знакомые знакомых – проезжают, пролетают, пересаживаются по дороге, забегают, передают, приезжают в гости.

А метро парижское – это, наверно, такая рыночная площадь средневекового города – вместо глашатая с трубой магнитофонный женский голос – остерегайтесь карманников, докладывайте об одиноких сумках (кстати, давно, когда нас немножко взрывали, мы с бегемотом увидели на скамейке одинокий портфель – пока мы совещались, надо ли о нём доложить, прибежал взмыленный портфелевладелец), а теперь вот – жара, пейте не меньше полутора литров воды в день, обтирайтесь губкой, навещайте престарелых...

Так и лезут в голову сплошные банальности – странная штука общество – каждый – пуп своего мира,

и каждый втянут в общую сеть – клошары – максимальное приближение к обособленности, но и они, кажется, всё больше социализуются – выдача им палаток зимой радикально изменила клошарское миропонимание – сейчас на Сене есть клошарник – стоят палаточки, бельишко сушится – теперь им есть что терять – не птички божьи – имущество появилось.

Ну, а мои любимые клошары возле периферик – парижской кольцевой дороги – просто собственники – огромная палатища рядом с маленькими (что в ней?), зонтик от солнца над столом, стиральная машина (куда-то под мост уходит провод), не только собаки, но и коты – всюду жизнь.

Не всем же путешествовать по Африке, или ходить с осликом по деревням и показывать в школах кукольные спектакли, как сделали две бросившие работу и квартиры подружки – я о них читала в зверином журнале. Не всем писать книги и картины...

Некоторые подаются в клошары.

Клошары – это вам не бомжи, это не бедолаги, с которыми случилось несчастье, и они остались без жилья – это убеждённые божьи птички, человеки, не желающие вставляться в установленную систему жизни – дом, метро, работа, метро, дом.

Конечно же, есть уйма способов жить иначе и при этом не на улице, но вот почему-то в Париже испокон веку жили-не особо тужили эти странные птицы.

Мы называем их не вполне нормальными, исходя из того, что нормальность подразумевает оседлость и потребность в минимальном комфорте...

Когда я только начинала жить во Франции, а начиналась моя французская жизнь в Анси – в маленьком городке в предгорьях Альп – мы возвращались ночью домой, когда к нам подбежала девушка и попросила помочь – она пыталась оттащить с мостовой на тротуар мирно там спящего пьяного клошара – Джейк честно схватил ворчащего сквозь сон и пахнущего отнюдь не фиалками мужика подмышки и отволол его на скамейку...

Однажды в Париже, в садике в Маре, я с интересом смотрела, как очень милая с виду девушка пьёт с клошаром из горла –дешевейшее вино из пластиковой бутылки – ну, выпивала и выпивала. Я уже относительно долго жила во Франции и не так уж удивилась.

Очень симпатичный клошар, проживавший на площади Контрэскарп, праздновал свой день рождения – на деревьях висели воздушные шарики, на бутылках шампанского были повязаны бантики, в гости пришли другие клошары.

Васька рассказывал мне про знаменитого клошара с острова Сан-Луи – у него был сын – нейрохирург – в пятницу он приезжал за папенькой на машине и отвозил его домой, но в понедельник папа опять убежал на улицу.

В самом начале моей парижской жизни я сидела со своей приятельницей-француженкой в кафе около Жюсьё, неподалёку на своём обычном месте валялись

клошары. Вдруг подъехала полицейская машина, от туда выскочили бравые ребята и потащили громко сопротивляющихся клошаров в кузов. Я с возмущением посмотрела на свою приятельницу, а она невозмутимо ответила, что клошаров везут на помывку, чтоб не было эпидемий.

Лет пятнадцать назад произошла грустная история – жил-был клошар, коллекционировал старые газеты, газеты жили в квартире, а клошар на улице. Потом случился пожар – сгорели газеты...

Клошары не попрошайничают в транспорте, разве что полусутоливо попросят денег, не отходя от своего клошарского местообитания.

Однажды бегемочья мама проходила мимо знакомых ей клошаров около метро, и один из них, не вполне трезвый, попросил 10 франков. Бегемочья мама вполне справедливо заметила, что даст она 10 франков, и что – он тут же отправится в магазин за бутылкой.

Клошар нашёлся: «Мадам, есть мы тоже хотим, обещаю, что на ваши деньги я куплю бутерброд.»

В метро полуклошарского вида человек – в грязных джинсах, в очках, с новеньким мобильником в руках сидел на скамейке и пил из горла из красивой квадратной бутылки виски Джек Дэниелс.

Мимо проходила редкостно для Парижа расфуфыренная дама – в короткой юбке, в туфлях на чём-то вроде шпилек и с мохнатым вандейским бассетом на поводке. В отличие

от Ното Modernus, который на афише надевал на саблезубого тигра, путешествующего в метро, намордник, она вела его без этого стесняющего свободу кусания предмета.

Полуклошар увидел бассета и полез к нему целоваться. Бассет ответил взаимностью, не проявив свойственной многим собакам нелюбви к пьяным. Дама, польщённая вниманием к зверю, одарила полуклошара победительно-благодарной улыбкой и вступила с ним в разговор.

Подошёл поезд – все в него вошли – я, дама, бассет, прочий народ на платформе.

Только грустный полуклошар остался сидеть на скамейке с полупустой бутылкой в руке.

Середина двухтысячных

Предрождественский Париж под тёплым сеющим дождиком – то брызнет на красные зонтики, то на жёлтые, то выключится совсем.

Блестящие листики корсиканских мандаринов пахнут горечью так что этой терпкой горечи хватает даже на чилийскую вишню рядом на прилавке. Пахнет ёлками у цветочных магазинов. Всюду предлагают горячее вино.

На набережной у Нотр-Дам чайки носятся и кричат – над мужиком, подкидывающим вверх хлебные крошки.

Торжественно идёт через лужу ворона и смотрит на меня возмущённо – вдруг я утащу большой кусок размокшей вафли.

На набережной около Эйфелевой башни цветут досочные вишни.

Устрицы, сыры, музыка из какой-то подворотни – а дома пахнет только что поставленной ёлкой – детский запах лезет в нос – ёлка пышная огромная (хвала БЕГЕМОТУ) – от пола до потолка – завтра будем завешивать её шарами и гирляндами – а пока пусть себе стоит, встряхнувшись, и дышит – зелёная.

В Париже недалеко от Нотр Дам есть чудесная булочная – Eric Kauser. Так зовут владельца сети. На улице Монж его самая первая булочная. Теперь-то у него в Париже несколько, есть булочная в Нью-Йорке, есть в Токио, и наверняка ещё где-нибудь. Но начинал он на наших глазах с этой вот на Монж.

Тамошний лучший торт – на похрустывающем тонком корже нежный мягкий крем, и разные ягоды сверху. Но главное – хлеба. Огромный тёмный каравай – из смеси всех злаков и на меду, при этом совсем не сладкий. Хлеб с оливками, хлеб с помидорами, с фигами, с какао.

К Кайзеру всегда стоит очередь, хвостик от неё вылезает на улицу. Но девочки-мальчики, тётеньки-дяденьки отпускают быстро, так что постоять в облаке тёплых хлебных запахов только приятно.

На прилавке стоит миска с кусочками хлебов на пробу. Пока девочка мне резала на ломти половину гигантского каравая, пока доставала с дальней полки хлеб с оливками, я лениво жевала пробные хлебные кусочки – и вдруг, когда я взяла в рот очередной ломтик тём-

ного хлеба, меня окутало знакомым острым лесным запахом – это был новый сорт хлеба – с белыми грибами.

«Аааа – сказала средних лет тётенька-кассирша, которую я попросила прибавить ещё и этот грибной хлеб к моим уже ухваченным хлебам – я полька, и у нас белые грибы очень ценят» – «Ну а я из России – белые грибы – это вещь!». «А на Рождество я буду печь Pirogui» – радостно прибавила тётенька...

Без четверти десять. Под Новый год. Только я и не сплю.

Надо подмести пол, на который Катя вытрясла примерно ведро (маленькое ведёрко) глины из вчерашнего мокрого леса.

Стол завален косточками от чилийской вишни и мандаринными корками, уже едет Димка с пятьюдесятью(!!!!) устрицами.

А ещё и 48 улиток, придётся барана выдирать из духовки чтоб их согреть.

О обжорство, о ужас, о позор и кошмар!

Нашлись новые носки, я с треском разорвала пакетик – значит, всё правильно, Новый год.

И единственный возможный в Новый год вопль – из Стругацких – счастья для всех!

А за Новым годом – просыпаешься в январе – самом длинном белым бесконечным полем месяце года – «где ты – восклицательный знак на белой странице...».

Я проснулась с Васькиным бормотаньем – «Ну, бесшумный и ласковый свет-снег» – под солнечными лучами насквозь протыкающими жалюзи.

И как бы жили мы в это тёмное время, если б не ёлки, не жёлтые горы мандаринов, прошитые тёмными матовыми листьями, не гирлянды, не Рождество с Новым годом, не странная сонная шоколадно-вишнёвая коньячная висящая между прошлым и будущим между ними неделя.

Замедление, лень, жизнь в ёлочном запахе под бегающий свет гирлянды...

А нам, климатическим эмигрантам, много не надо – слабые зимние цветочки на вишне, мельком увиденные из трамвайного окна, фонари хурмы в палисаднике напротив кампуса, мелькнувший седой хвостик тамошней старушки, без куртки возящейся в саду, несколько бледных форзиций – и невнятная радость.

По пятницам я иногда езжу в Дефанс с утра, не очень рано. И если везёт, то из двух возможных автобусов первым приходит скоростной, и он, не останавливаясь, перевозит меня через Севрский мост, и я бегу по этому мосту обратно, к трамваю, через реку – и гляжу на чёрные круглоносые баржи – «Волчья голова», «Барбара», на облетевший лес на холме, на бурую воду, на дорожку по берегу вдоль реки, между трамвайной линией и водой, мимо склада, и можно даже безобразным голосом петь себе под нос – прохожих на мосту немного, и любить Париж...

Январь – скрежещет железом на морозе, обдирает до крови язык и презирает зимние праздники.

Январь – его можно только пережить – хоть встать на мосту Искусств, поглядеть на плывущий навстречу остров Ситэ, на пару спилей, на светлые набережные, потом приехать домой, ткнуться в носы – собачий и человеческий, подумать про то, что в понедельник – будильник на семь часов и про некоторое заключённое в этом бессмертие.

А потом сесть за компьютер и бросить в море-океан зелёную бутылку с запиской – такую, от которой подобранные на улице осколки я обматывала проволокой, надевала на нитку и вешала на шею сколько-то там лет тому назад.

В метро на «Этуаль» я услышала 40-ую симфонию Моцарта – и не из мобильного.

Музыка при приближении к источнику заполняла подземелье и была чуть странной, как будто новый звонкий свежий голос добавлялся к многоголосью.

Люди шли на эту музыку, как на дудочку Крысолова. А Крысолов сидел на платформе на табуретке – в синей куртке и жёлтой шляпе – он играл на свирели, а рядом стоял ящик, из которого звучала запись. Я, правда, не знала, что его инструмент называется «свирель» – несколько скреплённых деревянных трубок разного диаметра – я ещё подумала, что за странная губная гармошка...

Подошёл поезд, люди, оглядываясь, пошли в вагон. Крысолов улыбался, и девочка лет десяти помахала ему рукой.

Вот ведь удивительно – классическую музыку стали называть академической, самим названием отправив её к ценителям, специалистам, может быть, даже снобам. А она воздействует так прямо, так непосредственно.

На улице в Севилье в 99-ом мы слышали целый симфонический оркестр. Что-то в облике оркестрантов привлекло моё внимание, показалось мне смутно узнаваемым. На пюпитрах стояли картонные папки с тесёмочками, а в папках потрёпанные ноты! На нотах – лиловые штампы волгоградского симфонического оркестра.

Собралась немалая толпа, играли они, насколько я помню, Брамса.

На площади Вогезов, под аркадами, часто играют классику, и всегда вокруг полно народу.

А не может ли быть, что классическую музыку, во всяком случае, старую классическую музыку слушало бы куда больше людей, если б не её репутация «скучной», трудной для понимания? Она ведь действует так непосредственно. И даже в неприятных уличных исполнениях собирает толпу...

В Париже, когда бежишь по набережной, каждую минуту глаз, во что-то ткнувшись, шлёт сигнал: не забудь!

2017-ый

На бульваре Сен-Жермен, как водится, орали чайки, и я, как всегда, судорожно шарила по карманам – раз уж мобильник мой чайками кричит. Но нет – это париж-

ские чайки, такие же горожане и горожанки, как парижские бакланы, парижские попугаи...

Что делают парижане в пятницу вечером? Естественно, выпивают.

Я вышла с работы под пышные наползающие друг на друга облака – небо набухало как дрожжевое тесто – но ветер прорвал дыру, и в неё рванулся свет – ещё не предзакатный, но уже вечерний.

Я, может, больше всего по городу люблю одна ходить – глазеть, что-нибудь себе рассказывать, или там обдумывать, а то и просто расслабиться и получать удовольствие – брести по Парижу куда больше помогает, чем шампанского бутылка, или чем «Женитьба Фигаро». Вот и пошла от Жюсьё к Жавелю – чуть меньше двух часов. Сначала к Нотр Дам, кивнула ей, – и свернула с набережной в улицы, – по Сен-Андре-дез-Ар – по Бюси – по улице Сены – в пятницу-развратницу всегда праздник, впрочем, не в пятницу тоже. Вернисажи, народ топчется с бокалами у входов в галереи. Потом мимо скверика с улыбающимся Вольтером – опять на набережную – и вниз к воде. А уж там – выпивают стоя, лёжа, сидя, выпивают за столиками, возле некоторых столиков даже официанты крутятся, но чаще сам берёшь чего-нибудь у прилавка. Выпивают с собой принесённое, расстелив на асфальте скатёрку для пикника, выпивают на ходу, на бегу. Выпивают вино красное и белое, и розовое, шампанское и пиво. Из бокалов и из пластиковых стаканов, – и в воздухе мешаются все эти алкогольные запахи – острый пузырчатый запах нелюбимого мной шампанского накладывается на осенний пряный опавших листьев винный.

Возле одного из деревянных сарайчиков-кафе этажерка с книгами, на ней написано, что книги, чтоб на месте читать, не чтоб утаскивать.

Сена всё ещё вздувшаяся, мощная после наводнений. Какая-то тётка шла по нижней набережной с двумя решительными шерстистыми таксами.

Шла я на запад, и низкое солнце слепило, и каменные стены оно пятнало медовыми витражами, и когда я издали увидела мост Александра Третьего, тяжёлые тройные фонари, просвеченные насквозь, оказались вдруг невесомыми.

Под мост медленно заходил кораблик, на палубе кто-то играл на огромной блестящей трубе. Впрочем, музыки я не услышала, я шла под Шопена у Поллини в наушниках.

Постепенно темнело и, как всегда во тьме, чайки оказывались белее, чем днём.

Так что неправда это, что ночью все кошки серы, белые ещё как белы.

Я глянула мельком через реку – на башню, на золотую голову Инвалидов, когда-то непривычную своим самоварным золотом, – я же с ней познакомилась, когда была она серая что ли – уже и не помню её бесцветности, – и спустилась в сад.

Красавица-негритянка говорила дочке лет трёх с торчащими косичками – сейчас домой, поужинаешь, сказку расскажу, – и что? И сама отвечала – и баиньки.

На траве пожилые арабские тётки в ярких платках, сняв туфли, вытянув ноги, ели бутерброды и, небось, сплетничали: «Наш Ванька-то чистый Женька Онегин, все встают, а он спать ложится» – услышал когда-то папа, возвращаясь ранним утром с работы (он в метрополитене по распределению тогда трудился) от тёток, едущих первым трамваем на рынок картошкой торговать.

Люди обнимались, лизали мороженое, болтали, прижав к ушам мобильники, лежали на скамейках, бежали, читали, тянули на ходу пиво или коку из банок.

Карусель с лошадками играла «домино-домино, будь весёлым, не надо печали».

Лапчатые лебеди топтались на ступеньках у воды, кораблики посреди реки вальяжно заплывали под мост. Солнце из-под тучи било в окна стекляшек Front de Seine.

Карусель на левом берегу не играла музыки – только скрипели лошадки с мочальными хвостами. Медленно крутятся, поскрипывали.

И маленькая зелёная дверь в стене вполне могла бы оказаться тут как тут, вот только за поворотом, в одном из разукрашенных домов прекрасной эпохи.

Пожилый мужик за столиком пиво пьёт, книжку читает, поглядывая на прохожих, – на соседнем стуле его собака – маленькая рыжая японская лайка.

Тёплый асфальт – по нему ноги, лапы и колёса. И танцует пара под музыку из собственного талефона, брошенного на тумбу.

Воскресная набережная – moveable feast – незыблемость, радость, надежда и опора.

Когда в городах стали одна за другой появляться пешеходные набережные, реки опять обрели смысл.

В 80-х годах прошлого века Сена текла бурая, по набережным ползли, неслись и стопорились в пробках машины.

А теперь по нижним набережным у самой воды можно пройти весь город с запада на восток, если смотреть от нас, от нашего выхода к реке возле станции «Жавель». Ну, а восточные жители могут начать у «Библиотеки».

2018-ый

Мы с Машкой еле нашли столик на острове Сен-Луи, чтоб с удовольствием сожрать мороженое. А под столиком аппарат в чехле оказался, небось, дорогуший. Официант не вызвал сапёрную команду взрывать неизвестный забытый объект (в метро висят трогательные афиши – на одной забытый мешок с игрушечным зайцем, на другой забытый портфель – вот вы, растяпы, забыли, а потом полицейским работа, и ребёнок без зайца остался, и кто-то опоздал на рабочую встречу, – граждане, будьте ответственными!) – но наш официант просто унёс аппарат в недра кафе, и пока мы ели мороженое, никто за ним не пришёл – растяпы на свете бывают, просто как я.

А потом мы брели по набережной по направлению к Лувру – по той, где год назад ещё мигала тормозными огнями скоростная дорога по правому берегу, – увы!, не исключено, что дорогу всё-таки восстановят, потому что в Париже пробки из-за её отсутствия стали хуже, и соответственно, воздух тоже гаже стал.

Но пока (и надеюсь, что всегда!) – по бывшей дороге катят велосипеды, коляски, ролики, а кто и на одном колесе. Впрочем, больше всего тех, кто пешком – «ода пешему ходу».

Столики, шезлонги, гамаки, качели...

*Осторожно, листопад, осторожно, наводнение.
Осторожно, время!*

Как-то враз осень превращается в позднюю осень. Несколько дней, когда иней поутру на ледяной траве – фи́гня, а вот налетает ветер, швыряет нехолодным дождём, и тротуар засыпан золотыми листьями дерева гингко, – если б не название, откуда б в нём экзотика – разве что из ботанического сада города Нальчика в 1973-ем году – гордость этого сада, удивительное дальнейшее дерево, одно название сообщает, что нечего ему делать на обычной улице.

И вот же, – большая улица, куда выходит наш переулок, засажена гингко – и вымокшие в серых пятнах золотые листья светятся под ногами.

В Париже в субботу, хоть в дождь, хоть в град, всегда гулянье, и когда смотришь с нижней набережной вверх

на мост, и там вопросительным знаком кто-то под зонтиком – сейчас ли, сто лет назад, пятьдесят...

Почти без перерыва льют январские дожди, – льют, льют, под ними намокают невесомые пуховки, в которых по зиме ходят парижане.

Ветер, не превратившийся у нас в бурю, – выворачивает зонтики, – парижские зимы не для хлипких защитных устройств.

В барах зазывный полумрак, бутылки висят головами вниз. У берега баржи пришвартованы, кораблики. Но никто не шлюзовался. Чайки в сумерках, как всегда, отчаянно белели, и крыльями хлопали над зимой – по Сильвии Плат в Васькином переложении.

И тут вдруг на каком-то раскидистом высоком дереве – шут его разберёт зимой, кто это, – явно не платан и не бук, потому что с крепкой шершавой корой – скорей всего, это был каштан, – я увидела бакланов – они давно уж не невидаль ни на Сене, ни на окрестных прудах – птица нередкая, до середины Днепра не долетит – но всё равно – здоровущие, как в Бретани, крепкоклювые бакланы сидели на ветках над каналом – не шелохнувшись, сидели – надзирали за ближним кафе, полным людей за уличными столиками, надзирали за пустой стоянкой для велибов – ни одного не осталось, всех разобрали под дождём и покатали на них, кто куда, – неподвижные часовые бакланы высоко над зимней серой водой.

*Не разгоняя сны дождей, на фоне стройных аркбутанов
В толпе невзрачных зимних дней начнёт*

без устали кружиться...

И город выглядит важней под сенью острокрылой

птицы,

Когда, напоминая нам, каким при Цезаре был остров,

Взлетает чёрный корморан над тесным строем

шпилей острых.

2013 г.

*На толпу, текущую мимо столика на тротуаре,
можно смотреть вечно.*

Париж ещё не украсился к Рождеству, – и хорошо, и спокойно, и нечего раньше времени наряжаться.

Кто-то за соседним столиком книжку читает, кто-то в компьютер глядит. А куда же ещё один кто-то отправился на велосипеде с десятью багетами в корзинке на багажнике?

Человек на улице exposed – кто-то берёт в руку бокал с красным вином, кто-то в паре с собакой идёт мимо, а потом – обратно мимо нас, приобретя в пути багет.

Седой лохматый мужик с женщиной в белом берете проходят, держась за руки.

Кто-то читает на ходу, кто-то задумался, кто-то один, кто-то в паре, с собакой, в компании.

И всех жалко. Неправильное слово, но когда глядишь на благополучных людей, идущих – кто с багетом,

кто с тортом, кто с букетом – в основном небось домой с работы, – по этой вечно праздничной улице – хрупкость благополучия, вечерняя зимняя тревога – она в глазах смотрящего.

С прилавка напротив, через нашу полупешеходную Висі (раз в сто лет проползёт машина), торгуют ракушками, устрицами – морской нерыбной снедью. С большой любовью какая-то пара выбрала себе ужин.

А рядом с рыбным прилавком дурацкий магазинчик всякой всячины, включая почему-то шляпы в нескольких коробках на улице, под криво висящим на стене зеркалом.

Девушка подошла, шляпку надела, покривлялась перед зеркалом, прыснула и дальше пошла.

Потом двое элегантных молодых людей подоспели – один с чёрной ухоженной бородой, другой безбородый. Стали беретик выбирать. Чёрный. Тот, что безбородый, на бородатого беретик надел, тщательно очень заломил – фик-фок на один бок. С продавцом побеседовали, взяли беретик, поцеловались и дальше пошли. Потом вдруг вернулись. Мы удивились – решили, что они и второму беретик купят, но нет – с продавцом опять болтали, опять поцеловались и ушли.

А мы всё сидели, даже и не болтали особенно – сидели, попу было не оторвать, – тёк между пальцев медленный вечер, тянулся.

И люди всё шли, на велосипедах тихо ехали, останавливались.

Долгий благополучный кусок истории – с послевоенны – только всё равно на каждого когда-нибудь обрушивается небо.

Мы добрали до площади Контрэскарп. И уселись в первом ряду нашего любимого кафе – в задних рядах совсем жарко от газовых обогревалок, а в переднем у нас под джинсами в конце концов замёрзли колени.

На площади стоял загадочный прилавок. На нём висел транспарант assistance alcoolique. Какую именно помощь там оказывали алкоголикам, мы не узнали – может, просто бесплатную фанту наливали из бутылок, которыми прилавок уставлен был. А один из двух людей, ведавших прилавком, по неизвестной причине то и дело надевал себе на голову абажур – то наденет, то снимет.

А ещё в ту субботу был телетон, и на Контрэскарпе один из его центров – собирали деньги на исследования по редким детским болезням. Лотерейные билетки, которые тебе предлагали купить по три евро за штуку, все были выигрышные, потому как местные магазинчики и ресторанчики в телетоне участвовали – и выигрыш заключался в скидке на покупку. Мы выиграли евро скидки на банку майонеза. Поскольку майонез нам совершенно был не нужен, билетик мы оставили на столике в кафе.

Сборщики денег бегали по соседней Муфтарке и по площади с завидным рвением. Особенно отличался папа с двумя дочками, – лет восьми и, может, шести.

Папа стоял на месте, почитывая телефон, а девчонки напрыгивали на прохожих из-за угла, – Машка сказала, что прям как гончие, – видимо нас-зайцев загоняли.

Появился элегантный не слишком молодой мужик со странным длинным предметом подмышкой. Предмет оказался пюпитром – он его установил и отправился к маленькой машинке, задвинутой вплотную к скверу посреди площади, так что при большой нужде объехать было её всё-таки можно. Из багажника ноты достал. Пока он обустроивал пространство, к нему присоединились девица в красном пальто и пожилой мужик с гармошкой.

Примерно в это же время на площадь вывалилась из-за угла разношёрстная и разновозрастная толпа с жёлтыми красавцами барабанами под предводительством азиатского вида мальчика в полосатом шерстяном колпаке. Барабаны эти люди побросали в сквере, оставив часового, и куда-то ушли.

Мы с интересом наблюдали за приготовлениями, думая, устроят ли музыканты нам какофонию, подерутся между собой, или как-то договорятся.

Сначала троица с нотами и с гармошкой договорились со сборщиками денег, чтоб те выключили свой играющий ненавязчивую музыку железный ящик – любовно.

Девица в красном пальто запела под гармошку, потом пошла танцевать с мужиком, который ноты принёс. Через некоторое время к ним присоединились ещё несколько пар. Потом девица раздала нам слова песен, но подпевать народ оказался не готов – песни были незнакомые, сочинённые кем-то из их славной троицы.

Тем временем вернулись владельцы барабанов. О чём-то поговорили с гармонистом, – не подрались, а поулыбались, – пение закончилось – а барабанщики с барабанщицами, с идущим спиной вперёд предводителем, громобойно обошли площадь, и удалились на Муфтарку – «но прислушайся, услышишь, как весёлый барабанщик...»

Кафе наполнилось под завязку. Девушка опять запела. Народ поднимался с места, фотографировал телефонами, опять садился.

Коленки мои совсем замёрзли, и я уговорила Машку, что хватит зевакствовать, и выпить горячего вина мы можем уже в каком-нибудь другом кафе – тут-то мы пиво пили.

Мы дошли до Нотр-Дам, постояли на мосту, глядя как дышит чёрная Сена, а перед тем как нырнуть в метро сели на улице за столик, где на окнах красно-зелёно-синие гирлянды почему-то особенно зазывно мигали, уводя в три года назад, в пять, в двадцать... Сели и через минуту собрались вставать – стало понятно, почему в этом кафе уличные столики пустые, и весь народ внутри, – да просто обогревалки не работали. Но вышел официант, и включил обогревалку у нас над головой, и увидев наш только что ухваченный в любимой булочной торт, хищно сказал – «а это ведь мне», – и мы выпили нашего горячего вина с корицей – вот и сказке конец.

Кажется, город начинает проникать в меня иначе, чем раньше. Неподвижностью домов, памятью неживого, письменами.

БЕДНЫЕ РИФМЫ

Бульвар Сен-Мишель, январь 2010.

Фонтан забыли отключить, и он превратился в огромный ледяной куб...

На тень Люксембургских аллей,
На площадь Эдмона Ростана
В недвижимом железе тумана
Соскальзывают непрерывно
По льдине на шее фонтана
Косые снопы фонарей.

Зря ёлки у старых церквей
Мигают в весёлую тьму
Тем рожам пустого фонтана,
Который зиме – ни к чему!
Смеющийся камень – кому
Дурное веселье? Нет – хуже,
Хохочущий каменный ужас:
Ну, как подмигнуть никому
В недвижимом железе тумана?
Огни ускользают во тьму,
Сползают искристо и сонно
По льдине на шее фонтана.

Под куполом у Пантеона...
Недвижность странна и бездонна
Для маятника Фуко,
Скользившего прежде легко
Под куполом у Пантеона...

Недвижность сегодня – бездонна,
Весь мир шевелиться устал...
На рожи пустого фонтана,
Стирая их мимику, встал
Подожвой, искрящейся сонно,
Кривой и огромный кристалл...

Всё – камень. Всё – лёд. Всё – металл.

Январь 2010

Хочется сказать: ледяной февральский день, но какой же он ледяной? Для февраля-то не холодный совсем – 10 градусов. Ветер, как в Венеции в 2008-ом, когда он не дул – давил – на нос, на лоб. И ночью, начинавшейся в 7 вечера, гнал за нами то ли эхо собственных шагов, то ли шаги прохожих, выкатывавшихся из единственной светящейся пещеры – из дверей супермаркета на набережной Дорсодуро.

Дождь, которым грозили, не состоялся. Рыжие крокусы в парке Монсури подрагивают от февральского озноба.

Как-то я стояла на перенесённой из-за ремонта автобусной остановке, на кольце. Автобус, в который я собиралась влезть, стоял метрах в тридцати от остановки, прислонившись к тротуару. Водителя на месте не было. Подъехал другой автобус с тем же номером 172 и встал параллельно первому, отчасти перегородив улицу, так

что машинам пришлось его объезжать по противоположной стороне. Водитель остался в нём сидеть.

Я услышала за спиной женские голоса с характерным североафриканским произношением.

– Неудобно, что перенесли остановку, на обычной-то на табло сообщают, когда отправление, а тут нет. Если мне ждать 10 минут или больше, я всегда иду пешком, мне пешком всего-то 8 минут. И что автобус не идёт? Наверняка водитель кофе пьёт.

– Точно водитель у него мужик, у женщин-то есть представление о времени, а мужик наверняка кофе пьёт, – подхватила вторая тётенька

– Наверно, африканец, – включилась третья.

– Или араб, – добавила первая.

Я слегка обернулась – три характерные североафриканские тётеньки из необразованных – в цветных платках, очень доброжелательные. Я с трудом удержалась, чтоб не включиться в беседу репликой «или русский».

Тут появился водитель – большой чёрный мужик. Подъехал к остановке, радостно улыбаясь : «Bonjour!»

– Bonjour! – многоголосо ответили мы.

2006-ой

Мы с Наташкой, приехавшей к нам на две недели из Иерусалима, брели по городу нога за ногу – прибрали на остров Сан-Луи, купили лучшее на свете мороженое – клубничное и апельсиновое из корольков, спустились к воде, там гуляли очень довольного вида дородные матроны утки с селезнями под ручку.

Подошли сзади к Нотр Дам и долго смотрели на каких-то итальянцев, пока они вместе с магнолией фотографировались.

Я держала руку с аппаратом в кармане, наготове, чтоб не упустить какой-нибудь зазевавшейся добычи – а весной около Нотр Дам добыча такая расслабленная, голыми руками бери – даже и носом не поведят, когда их – в упор.

В Нотр-Дам начались пасхальные службы, их транслируют на большущий экран на площадь. Небо всё в ухабах чёрных светящихся, пронизанных солнцем туч. Заполняют пространство орган, хор... И тут же люди, собаки, самодовольный чёрный кот.

А напротив, через мостик, на Левом берегу кафе – столики под навесом, газовые обогреватели на длинных железных ногах, от них слишком уже жарко, и мальчик за роялем прямо в проёме распахнутой двери.

Джаз и церковное пение встречаются на середине моста, таинственным образом они не перемешиваются – автоматическое соблюдение территориальных прав.

Когда я на метро ехала с работы, в вагон вошёл пожилой очень элегантный джентльмен – в очках, в куртке с капюшоном – из кармана куртки книжка торчала, в руке мобильник, в другой портфель, на пальце обручальное кольцо, а в зубах – не кусочек одеяла, а билетик метрошный. Сел, книжку достал из кармана, стал читать – с билетиком в зубах.

Наверно, когда он приехал домой, жена указала ему, что собаки пользуются зубами для переноски предме-

тов, а у человекoв для этого – карманы! А может, и сам выплюнул – когда захотелось, к примеру, выпить.

Ничего нет удивительного, что после встречи с человеком-с-билетиком-в-зубах, пока мы с приехавшей на викенд Галкой сидели за столиком на улице Висі – напротив рыбного ресторанчика, перед которым прилавок с устрицами и креветками, мимо нас прошёл человек-с-зелёным-попугаем-на-плече.

Попугай был довольно большой, но поменьше ары, к человеку никак не был привязан – ни цепочкой, ни верёвкой – сидел и глядел, пока его человек болтал с продавцом устриц, – вперёд смотрящий такой попугай.

А за минуту до человека-с-зелёным-попугаем по улице проходила дама-с-веснушчатым-сеттером-на-поводке, но в этом не было решительно ничего необычного.

Сеттер с попугаем не встретились, и мы не знаем, что бы они друг другу сказали.

2011-ый

У Кати был светский выход – к ветеринару-офтальмологу – проверить, есть ли у неё катаракта. Поехали на машине в Париж с утра по пустым улицам. У ветеринара, сурового немолодого мужика профессорского вида, собачье собрание – всё больше неюные. Французский бульдог совсем седой. Беспородный терьерчик – очень оживлённый, с приятной средних лет интеллигентной парой. На руках у слегка хиппового вида молодого человека (вот таких я люблю – с бородой и с хвостом) эдакая микроовчарка – ну, совсем по виду овчарка, но размером со среднего пуделя.

Приёмная тесная, а народу немало, потому что «профессор» принимает подолгу, а потом ещё ждёшь, пока анализы будут готовы, так что у Кати была полная возможность и к хозяевам поприсесть, и к собакам. Ну, и поскольку клиника глазная, то в общем, все себя хорошо чувствовали.

В сопровождении мрачного небритого мужика появился кот в переноске, которую мужик поставил на соседний стул и открыл, чтоб с котом без помех беседовать, ожидая очереди.

Катя вовсе не огорчилась, когда её с помощью двух девиц взгромоздили на стол и стали светить в глаза, лезть всякими инструментами и даже фотографировать что-то там при помощи гигантского объектива.

Катаракты на нашу радость не оказалось!

Пока важный ветеринар очень быстро печатал что-то на компе, не сняв перчатку (представляю, какова у него клавиатура), потом попытался и страховку мне заполнить в перчатках, но не вышло в них от руки писать, и выписывал лекарства от конъюнктивита, его помощница выдала Кате здоровое печенье в виде косточки. «Профессор» отрывисто спросил : «печенье дали?».

– Да.

– Как всем?

– Да.

– Вы на неё посмотрите!

Так Кате досталась вторая печенина. В городе-то БОльшая часть собак – небольшие дворняжки. Правда, в глазную клинику, где катаракту оперируют, и из пригородов ездят. Но мы видели только городских слегка шавковых собак.

А погоды стоят смешные – по три раза в день дождь, иногда ливень – вдруг набежит чёрное облако – прольётся, и всё сияет – та самая бледно-голубая эмаль.

Я вот – читатель стихов, которые развешивают в метро и в автобусах. Чего только не встретишь. Один раз в метро я даже встретила по-французски про то, что «Ведь, если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно».

А сегодня я познакомилась с неизвестным мне Превером. Собственно, Превера по-французски я вообще плохо знаю, в голове остались с детства Кудиновские переводы. И хоть Превер мне очень симпатичен, я к нему, кроме как в песнях на его слова, не возвращалась. И вот с удовольствием прочитала в автобусе про гору, которая родила мышь, и про Париж заодно.

*Paris est tout petit
c'est là sa vraie grandeur
Tout le monde s'y rencontre
les montagnes aussi
Même un beau jour l'une d'elles
accoucha d'une souris*

*Alors en son honneur
les jardiniers tracèrent
le Parc Montsouris
C'est là sa vraie grandeur
Paris est tout petit.*

*Париж довольно мал.
Зато велик Париж.
Я гору там встречал.
Она родила мышь.
И в честь такой горы
Парк назван Монсури.
Париж довольно мал.
Зато велик Париж.*

(Перевод А. Бириштейна)

2016-ый

Проходила я мимо «Шекспира», как со мной хоть раз в неделю да случается. И решила поглядеть, что за книжки у них на улице на этажерках у стены стоят – по евро за штуку. Раньше всякая ерунда была. А сейчас много хорошего! И старая классика, и современные книги.

Что ж, немудрено – электронные книги на марше – уж я и не помню, когда бумажную в последний раз читала. Но «Шекспир» выживет. Они открыли кафе, и там всегда народ, да и в кассу вечно очередь. И вообще люди в магазине и рядом толкуются.

И вдруг я увидела, что рядом с книжками стенд с открытками – и две с портретом Джорджа Уитмена. Я, кстати, долго была уверена, что фамилия владельца «Шекспира» – Шекспир. А он вовсе даже Уитмен.

На той, где он помоложе, он ровно такой, как когда я с ним разговаривала в 82-ом, чтоб устроить у него на одну ночь перед самолётом в Америку бездомного после

нашего с Бегемотом отъезда из чужой квартиры Юрку Фельштинского (мы улетали в Америку на день раньше и должны были отдать ключи дочке владельцев квартиры).

Уитмен грыз куриную косточку над газетой и разглагольствовал о том, что все люди братья. И Юрку на ночь пустил – на второй этаж, там, где литературные вечера устраиваются.

В нашей с Васькой парижской книжке мы про «Шекспира» и Уитмена, конечно же, написали (к Васькиному первому первому абзацу я присобачила ещё три:

«Эта книжная лавка (хочется сказать именно так – лавка, по ассоциации с питерской «Лавкой писателей») расположена в славном доме XVII века, и кроме английских книг, тут можно найти книги на всех возможных и невозможных языках. И покупатели здесь со всех концов света. В этом магазине роются в книгах, читают, спорят, нередко тут устраиваются поэтические вечера – и тоже на самых разных языках.

Магазин этот был основан в 1919-ом году, сразу после первой мировой войны. Тогда он находился на улице Odéon в доме 19. В 1951-ом году чудесный человек – американец Джордж Уитмен из города Салема – перенес магазин на набережную, на Левый берег напротив Нотр Дам. Внешне был Уитмен похож на Дон-Кихота... Да и не только внешне. У него на втором этаже магазина диванчик, и он, если его попросить, и если место было, пускал переночевать на этом диванчике оказавшихся в Париже без крова студентов, которые в семидесятые болтались по миру, не особенно заботясь о пропитании.

Однажды, когда я еще не жила в Париже, мне случилось попросить Уитмена приютить на одну ночь одного своего приятеля, и он не отказал. Уитмен сидел в зад-

ней комнатке своего магазинчика и ел с промасленной бумаги курицу. На мою просьбу он ответил согласием и объяснил, что все люди – несомненно братья).

Перед магазином под сакурами у стены деревянные скамейки. Там и сейчас вечно сидят самые разные люди – читают, бутерброды едят. Уитмен умер в 2011-ом, теперь магазин принадлежит его дочке, которая стремится сохранить отцовские традиции. Так что и сейчас «Шекспир» – не только книжный магазин, но и литературный клуб».

«ШЕКСПИР И КОМПАНИЯ»

*Памяти Жоржа Уитмена,
знаменитого парижского букиниста,
создателя и хозяина магазина
«Шекспир и компания».*

*Весною сумерки ленивы
И не враждебны никому,
Деревья в воздухе парят и
Осколки позднего заката
Со столиков сметают тьму,
Витрины отражают криво
То бледно-розовых тонов
Бокалы – чашечки цветков –
То жёлтым расцветает пиво,
Махровый цвет бордо – бордов,*

*А рядом – магазин Шекспира
Почти столетье – в центре мира...
Где цвет магнолии лилов...*

*Хозяин был незаморожен,
И добродушен, и речист,
И хоть Уитменом он звался,
Верлибрами не развлекался
И сразу мог понять кто хочешь,
Что он – Шекспир и Букинист,*

*Вокруг паслись стада поэтов,
И всякий что-нибудь читал,
Там сто один язык звучал,
А он? Как слушал он всё это?
Хоть языков, как будто знал
С десяток, может быть всего-то...
Он в центре лавочки сидел
И был похож на Дон-Кихота,
И курицу с бумажки ел....*

.....
*Пестрит витринное окно,
И всё, что в нём отражено –
Мозаика души Парижа –
Сквер. Нотр Дам. Река. Вино.
И корешки старинных книжек...*

2012 г.

2014-ый

Вот бурундуки опять развелись в лесу, через который мы бежали в воскресенье к станции, потому что лень было четверть часа ждать автобуса, и без наглого, худого как сверло, Таниного носа, они нас не боялись, и один вышел на дорожку и раздумчиво двумя челове-

чьими дюймовочкиными ручками почёсывал ухо, сияя полосой на боку и разостлав по земле волшебный хвост.

А вчера по до комьев глины знакомому полю на краю леса Рамбуйе друг за дружкой неслись два зайца – упитанных в светло-коричневой лоснящейся шкуре. Таня на нашу радость их не заметила, поглощённая запахами в высоченной на краю канавы, отделяющей поле от дорожки, траве.

Между бурундуками и зайцами был Париж – летний, любимый, лёгкий Париж. Мы втроём с Галкой и Славкой прошли от Жавеля до Библиотеки по нижней набережной Левого берега у самой воды. Сколько там? Километров тринадцать, судя по славкиному телефону, который сказал, что 16, но по нашей невнимательности включил в них дорогу через лес на станцию.

Вдоль воды – сначала пустовато – пришвартованы жилые баржи, выставлены цветочные горшки – на палубах они, на асфальте. Потом площадка, где спят слонопотамные бетономешалки, яхтклуб, столики на улице...

Дальше между Эйфелевой башней и Орсэ – полно народу – шезлонги, шахматные столики, бадминтон, в стенку забиты крючья, чтоб дети с малолетства скалолазали – пешком, на велосипедах, толкают детские коляски, на огромной чёрной доске мелкими рисуют рожи людей, зверей, пишут разное на всех языках – «bonjour, nous sommes ici», «come here», «Let's go», и превыше орлиных зон, с лестницы доставали, – «Слава Украине» – и опять столики, возле них возлежат на раскладушках...

Два упитанных полицейских на двух упитанных лошадках цокают, одна лошадка подымает хвост и с удовольствием наваливает кучу, лошадиное дермо обтекает толпа. Собаки – всех видов и размеров, на поводках и

без – плывёшь в этом дружественном потоке, не раздражаясь, что народу много...

Незадолго до Орсэ строгое объявление: «велосипедист, последний выход перед закрытием набережной!»

Никто не выходит – и фланирующие хоть пешком, хоть на великах упираются в строительные работы – можно обойти, сделав шаг над водой, по узкой полоске гранита, – перед проходом образуется быстро движущаяся очередь, – шаг – и опять широкая набережная, шаг с велосипедом на плече, с детской коляской...

Потом за Орсэ – никаких развлекаловок – одни плакучие ивы лежат ветками на высокой после дождей воде, листья тихо шевелятся, да утки с селезнями проплывают. Тень, нежарко...

Возле Аустерлица палаточный клошарский городок – там даже чисто, даже бельишко сохнет на верёвках, – даже не воняет к великому изумлению – аустерлицкие сортиры и душ что ль клошары посещают? И почему-то городишко этот разноцветный прямо под основанием огромного дома мод и дизайна, стоящего у воды на столбах.

Расфуфыренные девицы поедают бутерброды, сидя на каменных глыбах, как на завалинках, и тут же посидивают обитатели палаточного городка. И кто-то кого-то фотографирует постановочно, возможно, на какую-нибудь обложку.

А сверху, на мосту, под оркестрик танцуют танго...

Пришвартованный бассейн на барже сверкает голубыми дорожками через стёкла, а на разбросанных возле воды диванах народ курит кальян...

Тут мы поднялись к ступеням Библиотеки, зарубив на носках, что надо будет продолжить – интересно ж, куда удастся дойти вдоль воды...

Просвистел викенд – Париж между бурундуками и двумя зайцами – покатила последняя майская неделя – зацвела разноцветьем...

Вечером на улицах стада велосипедов, солнце в стаканах на столиках – тонет в красном вине, сияет в белом, зайчики скачут по пивным кружкам.

И лица... Кто-то самозабвенно целуется посреди тротуара, кто-то жуёт багет на бегу, а кто-то книжку на ходу читает, ухитряясь не впилиться в фонарный столб.

Комом в горле – собственная отражённая в чужой жизнь.

Пока был Васька, время вишен – в него обострялось бессмертие и выстреливало из цветенья языком ящерики в лесу Рамбуйе, коснувшись моего неподвижного протянутого пальца, – оно охватывало прозрачным коконом неуязвимости, качало, качало в тёплых самых главных на свете средиземных волнах...

Я бреду по набережной, как почти каждый день, – поднимаю глаза на Нотр Дам над белой вишенной пеной...

Бродили с Машкой по деревенскому Парижу – по шпалам старой железной окружной дороги, где укрытые от ветра особенно пышно расцветают зимой сорняки – потом к «Улью», где жили все эти ребята в начале прошлого века, – Шагал, Модильяни... И Аполлинер заходил – пережил первую мировую и от испанки помер...

Я обычно совсем равнодушна к домам-музеям – но это просто обшарпанный дом на невнятной окраинной улице – его не украшали, не ставили табличек на экспонаты, не водят экскурсии – стоит дом, молчит, – рисуй себе в воздухе следы, щёлкай пальцами, надейся, что пространство помнит, да и у времени, которое захлопывает перед самым твоим носом дверь в прошлое, не пускает тебя провалиться в десять лет назад, презрительно говорит – «дай другим жить» – что у этого неласкового времени хотя бы память есть, надейся...

Потом побрели на улицу, где Брассанс жил, – в тупичок, где перед разноцветными дверями на тротуарах цветочные горшки, крошечный круглый столик из какого-то дома выскочил и два стула с ним вместе, и азания в ноябре цветёт...

Тёплый нежный день, только шуршали липовыми да платановыми листьями тротуары – оссень-ошшшень...

И вернулись мы вечером к исходной точке, пройдя почти целиком самую длинную парижскую улицу Вожирар – от Люксембургского сада до Версальских ворот...

В ноябрьской ранней тьме за столиком на тротуаре, в окутывающем тепле, даже без газовых обогревалок – перед каруселью не с лошадками, но всё равно в в стиле

ретро – пиратский корабль, лупоглазый автомобиль – ретро восьмидесятых, с которых я знаю Париж, – и кажется, он почти не меняется, – ну что там комп на столике вместо блокнота – по сравнению с вечностью?

Прошёл дождь, но холодно не стало. Официант в футболке с короткими рукавами наклонил круглый голубой пластиковый столик, и вода стекла с него на тротуар. В лужах прохожие отражались, и облака ушли к краю неба и дальше за розовеющий горизонт... Очень пустынное было небо, и темнело не по-южному, всё-таки постепенно. Зажглась Эйфелева башня, – соломенной её по вечерам Васька звал.

И мокрый город расцветал «серой розой», и «без парижан его не бывало», и люди в котелках прогуливались по бульварам под газовыми фонарями, и пыхтел на Сене буксир, и «господин Доминик у руля», и я шла-шла – мимо золочёной тётки на Трокадеро, на голове у которой я когда-то фотографировала чайку, мимо карусели, заигравшей *c'est si bon*, а лошадка в яблоках махнула мне мочальным блондинистым хвостом...

И шла я через мост над взъерошенной водой, по набережной, и огромные ещё зелёные листья катальп намокали в лужах... И город откликнулся на прикосновение, пружинил асфальт под ногами... И смерти не было, и не было слова никогда... А только шаги, листья, вода – идти, идти, идти... Но вот уже метро...

2018-ый

Когда я выхожу с работы совсем усталая – лекции, встречи, круговорот студентов и коллег, мне на удивление не хочется в автобус, даже мысль о нём неприятна, хоть и буду мирно в нём сидеть – книжку почитывать, или глупости пописывать (умности в усталости точно не рождаются)...

В усталости я всегда езжу через город, чтоб хоть чуть-чуть пробежаться – или проплестись нога за ногу, хоть бы даже и под зимним дождём...

Голова пустовата, но глядишь – там фонарики, сям – негромок Париж к Рождеству, и к этой неяркости привыкаешь и радуешься, что не разряжен в пух и прах он... Так, слегка.

И перед тем, как нырнуть под землю – привычно глянуть на разноцветные лампочки у Шекспира и на Нотр-Дам, твёрдо-каменную и особенно белую в чёрном небе...

Удивительное дело – мишура, шары, бегающие лампочки, – вся эта рождественская хрень, помноженная на подарковое безумие, – как ни крути, китчем своим жмёт на какие-то так с детства и не заросшие точки – вылезает то куклой в снегурочкином костюме, на скорую руку сочинённом бабушкой, то запахом ёлки, которую папа тащит из-за окна на нешуточном питерском морозе.

***Что ж – сбылось больше, чем обещалось...
Только сколько ни кричи – «остановись, мгновенье»...***

Плыви, золотая рыбка, мне нечего у тебя просить – чудес-то ты ведь и не умеешь...

Хвостик у тебя, небось, вуалевый, кружевной... И глазки пучеглазые... Плыви себе на коралловую отмель – да барракуде не попадайся – эдакой циркульной пиле в рыбьем обличье... А я постою-погляжу на синие огни, на белые крылья чаек, как они «хлопают над зимой» и над чёрной водой, да на Нотр Дам – «вручную окрылённый камень»...

2007-ой

Невыносимо грустно смотреть на старых собак.

В кафе на широченной ведущей к Триумфальной арке фешенебельной улице живёт в кафе белый голден ретивер. Я иногда по этой улице прохожу, и этот приветливый достойный зверь всегда на посту. Лежит на тротуаре, приветствует прохожих взмахом хвоста, провожает их спокойным доброжелательным взглядом. Сегодня мокрым холодным вечером я увидела, что он совсем постарел. С неба не лило, пёс вышел размять затёкшие лапы, и ему явно не захотелось идти обратно домой, в кафе. Он прошёл несколько шагов на плохо сгибающихся ногах, потом лёг – ложился он медленно, с усилием – пристраивался на бесприютный тротуар. Я протянула руку – погладить – вежливый зверь потянулся ко мне, захотел встать, я его удержала. Он глядел на меня с таким доверием и достоинством.

А я подумала, что через год его уже не увижу...

Человечья жизнь много длинней собачьей. И этот переход от радостного самозабвенного щенячества к старости – за какие-то 12 лет – ошеломляет, и костью в горле – укором.

Ни перед кем так не стыдно, как перед собаками.

Перед их обескураживающим доверием и перед их непониманием.

*Года, они – куда?
И – журавлём трубя –
Собаку пережить,
Как пережить себя*

*Был мокрый чёрный нос
А стал совсем сухой ...
И то, что было жизнь,
Вдруг сделалось трухой.*

*Да, знал, заранее ждал,
Но всё равно – обвал...
Так сколько же я раз
Себя переживал?*

Собаки, кошки, люди... Старые книги – папины, мамины, когда-то нужные. Времена, которые не выбирают...

2014-ый

В воскресенье, бродя по Парижу, в двух шагах от жизнерадостного рынка – апельсины из Италии, черешня из Танзании – я оказалась на совсем безлюдной улице. Вдруг услышала грохот позади. Обернулась – это упал старик. Я подняла его – совсем старого старика с палкой. Стала спрашивать, не позвать ли подмогу, всё ли в порядке.

Нет-нет-нет, у него болит – и он стал показывать на подбородок – но нет, он хочет вернуться домой, только заблудился. Он помнил адрес, – его дом был в двух шагах от того места, где он упал, на той самой рыночной улице, откуда я пришла, – только шёл он в противоположную сторону.

Я спросила, есть ли жена, не позвонить ли ей – нет-нет-нет, он хочет к ней вернуться, он знает адрес. Я повела его домой – только он не совсем мне поверил – пошёл со мной, но переспросил, туда ли мы идём, у первого встреченного прохожего. И тут мы дошли до угла его улицы, и он узнал её, и приосанился – нет-нет, дальше я сам – там уже было много народу – и он пошёл, постукивая палкой, по воскресной пешеходной улице...

Васька очень любил belle époque. А я всегда пожимала плечами – переукрашенные дома, похожие на торты, пышные витражи. Впрочем, я и вообще не любила архитектуры как таковой, – старые камни, соборы воспринимая по какому-то неархитектурному ведомству.

А тут, когда я по заказу Эксмо стала писать книжку о Париже, меня накрыло – как и во многом другом – за Ваську. Я всегда его упрекала в бульдожестве, а он меня в халтурности. Он вцеплялся во что-нибудь и, пока не добивал, не успокаивался. А я делала сто дел сразу. И вот меня накрыло этой книжкой про Париж. Читаю только про город, в любую полусвободную минуту кидаюсь фотографировать в невнятном зимнем свете...

Васька в своей парижской книжке, естественно, писал про «прекрасную эпоху», отправлял меня снимать во всех ракурсах знаменитый изукрашенный дом Лавиротта на авеню Рапп. Почему-то я туда ездила без него (с работы) и долго прицеливалась – и так, и сяк снимала.

Васька написал о входах в метро по проектам Гектора Гимара. А я наткнулась на описание дома, построенного Гимаром. Castel Beranger, который жители переименовали в Castel Derangé, несмотря на то, что на каком-то конкурсе фасадов 1898-го года он занял первое место. И даже несмотря на то, что дом был по тем временам исключительно удобным – с ваннами и телефонами, – его звали бесовским и ругали на все корки. И ещё я прочитала, что Гимар построил немало домов примерно там же, где этот свихнувшийся замок, – в 16-ом районе. Вот и поехала в одно из воскресений на них смотреть.

Бывает иногда – нет, не *déjà vu* – что-то другое – поворот ключа, вход в другую реальность, в которой иная готовность откликаться. Я ходила по улицам, не глотая комок в горле. Конечно же, я поехала фотографировать не только безумный замок. Сначала я попала в сад поэтов – на лужайке там стоит каменный и очень симпатичный Мистраль в пальто и шляпе. А вокруг в траве камни с цитатами из самых разных поэтов. Там тихо и

тепло, и цветут зимние вишенные, и стоят вдоль дорожек бюсты – Верлена, Бодлера... И неожиданно Пушкин, Александр Сергеевич – собственной персоной. И калитка в соседний сад – там с 19-го века парижские оранжереи. Удивительное дело: толкаешь дверь и заходишь в гости к фикусам. К кактусам сам не зайдёшь, на дверях написано, что нежные они, и надо к служителю обратиться, чтоб он дверь открыл. Интеллигентного вида два мужика вышли из оранжереи мне навстречу – неспешно беседующие, ну, прямо греческие философы какие...

Оттуда я пошла к Гимару. Сначала я увидела его другие дома, попроще. И всегда где-нибудь на карнизе – подпись с росчерком. А потом дошла до безумца. Он оброс железными морскими коньками, а с балконов многократно умноженная ухмыляется собственная Гимаровская морда.

И глядя на эти дома, – весёлые хулиганские, – мне было так странно думать, что между нами больше ста лет.

Гимаровские дома – начало прошлого, моего любимого, – моего века. А потом сменились времена. И кончилась «прекрасная эпоха», и пришёл конструктивизм, столь ненавистный Ваське. Гимар впал в безвестность, а в 38-м от надвигавшегося фашизма уехал в Америку, там и умер – в 42-ом, никому не нужный.

Васька почти разделял мою любовь к «Саге о Форсайтах». И для него очень важен был Босини – он считал, что Голсуорси описал идеального архитектора Прекрасной эпохи. И правда, дом в Робин Хилле – чем не из этих рехнувшихся домов.

Шестнадцатый район – такое слегка презируемое многими место – богато-буржуйское.

Но по обычному виду воскресных гуляющих мне показалось, что в этих домах живут разные люди – не обязательно богатейские наследники богатеев. Кто-то с коляской, какие-то ребята компанией...

У ресторанчика остановилась машина, и из неё вышли как раз типичные в моей голове жители шестнадцатого района – две пары, два старушка и две старушки. Одна из ухоженных старушек обратилась к старушке: Мишель, я сама.

Бывает, что чужое захлестывает – вдруг эту постороннюю жизнь с наверняка её предрассудками и чужестью ощутила... Вот жив ещё Мишель...

И стоят дома с подписями архитекторов – дикие разукрашенные дома. А начало прошлого века, оно где? У тебя на бороде? В чьей-то голове? Ускакало с дедом Пихто на коне в пальто?

Самый знаменитый в Париже дом в стиле belle époque построил на ave Carr Жюль Лавирот.

Васька страшно этот домище любил, написал про него в своей парижской книжке, отправлял меня этого красавца со всех углов фотографировать, но, увы, как выяснилось, знал про него не всё.

И кабы не книжка “the secret Paris”, присланная мне из Лондона, и я б тоже слона не заметила – никто его не примечает.

У дома этого в высшей степени выдающаяся дверь – с прекрасным узором – цветочным-лиственным-пышным – с типичной избыточностью того времени.

Естественно, в самых разных книгах эта дверь иллюстрирует архитектурные принципы belle époque.

Но только “the secret Paris” предлагает посмотреть на нее внимательно – и объясняет как именно надо пройтись взгляду.

Итак: поглядеть на два овальных стекла сверху, потом вниз по срединному стеклу – и не остановиться, а пойти взглядом дальше – вниз под стекло! И сразу становится непонятно, как можно было скользить взглядом по этой двери, замечать в ней типичные признаки тогдашней архитектуры – и в упор не видеть главного!

А женская голова сверху – скорей всего портрет жены! Куда справедливей, чем если б это была чужая тётенька!

Как-то в давние времена по Бибиси сообщили (не только ж о политике говорить!), что в Англии был произведён опрос тётенок на животрепещущую тему – кто самый обаятельный мужик. Мама страшно удивлялась, что немного было ответов: «мой муж». Каких-то идиотских актёров называли – хотя, казалась бы, что может быть естественней для уважающей и любящей себя тётеньки, чем считать, что уж она-то правильно вышла замуж!

Ну вот, наверно, Лавирот правильно женился.

Славные они были ребята – Лавирот, Гимар, ухмыляющийся с балконных решёток своего безумного замка, римский архитектор, имени которого я не знаю, который построил друг против друга два дома – на одном огромный паук, а на другом ничуть не меньшая муха...

Вслед за Васькой я их полюбила... А как бы радовался Васька, кабы книжка «the secret Paris» нам досталась

при нём... Хуй на двери – окружённый цветами и узорами – шутка ли!

Тёплым зимним вечером Эйфелева башня светится. И карусели под тихую музыку медленно поворачиваются, позвякивают. Лошадиные хвосты покачиваются.

Мокрый весенний воздух хватает за горло – что ж, если день удлинился на воробьиный нос, так и весна наступит...

И Сена возле моста ходит медленным ходуном, заворачивается в воронки, проваливается ямами, вздымается плотной тканью, как та синяя тряпка, что в пыльных декорациях Мариинки поднималась на сцене в балете «Медный всадник», в моём детстве, в котором на даче летним вечером я щёлкала возле локтя зубами, пытаюсь его укусить, – ведь мама говорила : «укусишь локоть, поедешь в Париж».

Белые каменные орлы слегка презрительно глядят с моста в эту непостоянную вечную воду.

И в тёмно-синем небе у Трокадеро к луне взлетают светящиеся бумеранги, пересекая крутящийся луч Эйфелевой башни, когда он вдруг освещает площадку, где кто-то танцует под негромкую музыку, и слившиеся с вечерней ночью чёрные люди ловят в руки светящиеся игрушки, потому что игрушки эти – всего лишь бумеранги, и до луны им не долететь.

Нарциссы в саду у St Julien le Pauvre ещё не распустились, но жёлтые стрелы бутонов смотрят вверх, и раскрылись уже мелкие белые колокольчики, которые не знаю, как называются.

Сидишь в своей шкуре, или бежишь, бьёшься всеми лапами, коллекционируешь минуты – кап-кап – минуты в пейзаже... Кап-кап – от шестнадцатилетних прогулок по Ленинграду со сладкой предвкушающей тоской и на языке «кому ты нужен кроме родителей» – кап-кап в сегодня – в подпарижский солнечный вечер – мимо леса из автобусного окна, мимо леса, где со всеми моими собаками – тяфф!

Вчера в тесном вечернем метро ехал человек с контрабасом. Стоял на платформе, опираясь на незачехлённую, слегка потрёпанную деревянную громадину. Поезда почему-то не было минут десять, так что народу скопилось много. Я прошла мимо, и как он залезал в вагон, уже не видела.

Мама рассказывала про одного оркестранта-контрабасиста, который страшно огорчился, что сын его, тоже музыкант, выбрал скрипку: «Контрабас – это же, как скрипка, только ещё нежней». Приходил делиться горестями к ним в бухгалтерию.

Большую часть жизни мама проработала в бухгалтерии в Мариинке. Так получилось. Когда-то она вместе

с Васькой училась в институте, участвовала в литературном кружке. Когда после доноса одной общей подружки, начались институтские разборки, Васька бросил всё и уехал из Ленинграда, а маму стали таскать в первый отдел и грозить исключением. Ей это быстро надоело, она сообщила приставучему гэбэшнику, что учиться дальше не собирается, и ушла сама. Закончила бухгалтерские курсы.

Когда мама работала в театре Ленинского комсомола, она водила меня на «Аленький цветочек». Там было чудище – мохнатое симпатичное, был тёмно-зелёный лес, и по-моему, были Леший с Кикиморой, хотя что им делать в «Аленьком цветочке?».

А в антракте меня познакомили с медвежонком. Человек, который жил с этим медвежонком, предлагал маме привести его к нам домой на Новый год. Только папина мама, бабушка, с которой мы жили, запретила – «через мой труп». Не держите дома медведей, – медвежонок вырос, хозяин, ходивший с ним по детским спектаклям, отдал его, и медведь поселился в клетке в Солнечном недалеко от залива. Говорят, что потом его продали в какой-то сибирский город и там съели. Очень-очень надеюсь, что всё-таки это неправда, что не было людоедства.

Мне было ещё довольно мало лет, когда мама поступил в Мариинку. В бухгалтерии они жили славно, по-семейному. Главная бухгалтерша была из «бывших», так что когда приезжали иностранцы, директор, пришедший в театр из пожарной команды, призывал её из бухгалтерии, чтоб она поговорила «на языках». Семьи у неё не было, и когда она умерла, мама унаследовала её малахитовые бусы.

Ещё была круглая уютная Буся Исаковна, которую звали Пусей Исаковной. У неё в семье была мелкая неприятность – племянница вышла замуж – «вы представляете, за еврея из Бердичева». Вот ведь мезальянс для ленинградской еврейки из хорошей семьи!

Мама трепетно относилась к своей театральной работе – если дело было перед расчётом зарплат, она могла отправиться в свою бухгалтерию больной, с температурой. И никакие папины выкрики, что театр без неё не сгорит и не утонет, не действовали.

Нас с малолетства водили на оперу и на балет – я-то всё равно не люблю ни того, ни другого – и ещё мы слышали кучу историй из театральной жизни.

Кто-то с кем-то поссорился и не здоровался. Встретив в коридоре врага, или врагиню (тётки ведь, небось, были) в чьём-то ещё обществе, поссорившийся произнёс: «вам здрасти, а вам нет».

Демон в пьяном виде упал в оркестровую яму и ногу сломал. Его пришлось заменить. Заменщику выдали премию за то, что он «пел не своим голосом».

Однажды в бухгалтерию вошёл Алексей Толстой. Нет, это был не призрак, а сын его Дмитрий – все Толстые, как известно, очень похожи.

В метро ехал человек с контрабасом, – я только не знаю, вёз ли он свой контрабас домой, или, может быть, пел в вагоне и аккомпанировал себе на этом инструменте, который, конечно, нежней скрипки.

Дождик, второй день дождик. Пахнет резкой зеленью. И не холодно.

2007-ой

Ночью, когда почти нет машин, – нежно освещённые улицы. Ледяная Нева, печальный Крузенштерн, подъёмные краны, заваленные снегом ступеньки биржи, сияющий Эрмитаж.

Толпа единым телом протискивается в узкие двери на Василеостровской. Лица, лишённые выражения, в вагоне.

Белый сверкающий снег в Приморском парке, яркие лиловые тени, ледяные прозрачные берёзы.

И иногда на улице, в магазине – лица, совсем свои, родные, понятные, и вдруг хватает за плечо, перехватывает горло какое-нибудь выражение, поворот головы, взгляд, – и затапливает. И всегда это так, в каждый приезд – дотрагиваешься – ау – есть ещё? – не засыпало пеплом?

На площадке Трокадеро стояла на руках девчонка, растянув ноги почти что на шпагат, которого я никогда не могла сделать, отчего меня не взяли в пятом классе в секцию гимнастики, а в лёгкую атлетику взяли.

Мальчишка, который с ней был, телефоном в разных ракурсах её фотографировал, а толпа их обтекала.

Сегодня я влюбилась в улицу. Совсем маленькую пешеходную – в двух минутах от Лионского вокзала.

В одной из моих теперь настольных книг, откуда я ложками-поварёшками черпаю всякое парижское, про эту улицу сказано, что её одним махом застроили в 1857-ом скромными недорогими двухэтажными домами, и в газете написали : «тут нет консьержей, и за 700 франков в год, вы станете истинным хозяином своего жилья.».

Потом улица обветшала, прохудилась... А в 90-ые её отремонтировали и сделали пешеходной.

Я подошла к углу и стала фотографировать картинки на доме, когда из подъезда вышел мужик в очках, свитере и почему-то в лыжной шапочке. Отвязал велосипед, улыбнулся и спросил, нравится ли мне тут.

Я брела по мостовой, под не горящими ещё фонарями, глазела на разноцветные фасады, на кадки с цветами у стен, на велосипеды.

Постепенно зажигались окна. За одним кухня – горшки, горшочки, сверкающий медный таз...

А потом я дошла до окон, от которых не могла оторваться. Если б я могла спрятаться в дырку – в норку и оттуда снимать, я бы так и сделала. Но увы. Я видела две комнаты – в одной стены были уставлены книжными полками – от пола до потолка. У окна стоял стол с компьютером. В другой – диван, ещё книги, какие-то картинки на стенках. Беспорядок – где-то что-то валялось. Я глядела в родное жильё, в такое, что вошёл – и живи, и сразу будешь у себя и в домашних тапочках. В доме было три человека. И все трое читали – мальчик- подро-

сток на диване – толстенную книгу, средних лет мужик с лицом, глядя на которое сразу видишь – свой – такие когда-то встречались возле университета, в переулках около БАНа, – читал в кресле. Женщина встала со стула, отложив книгу, и пошла к компьютеру. А я постояла в сумерках, надеясь, что вот-вот загорятся фонари, но нет – не ходят нынче фонарщики, и фонари сами зажигаются, но уже во тьме.

И пошла себе к реке, потом через мост под ветром, глядя, как постепенно стираются с неба облака.

Вышла на газон и увидела ветер, падающий на траву. Трава шелестела, гнулась, блестела. И вспомнила, что я когда-то об этом уже писала, что у Бродского – «ветер, налетающий на траву», а падающий – лист.

Но я упорно помню падающий ветер, и налетающий – продолжает разочаровывать.

А ведь если падающий – то в траву. Но тогда – падающий и затихающий, и тихо лежит утомлённый, – только стебли слегка пошевеливает.

Нет, налетает, клонит – и дальше летит, – а трава упорная-упругая поднимается.

Ну, а если всё ж упасть на траву – это не то, что упасть в траву – падает на траву, охватывает её, пытается унести с собой, но трава крепкая, с корнями.

Сегодня утром по ней, по собачьему газону напротив дома бродили два селезня. Вперевалку, небыстро, не стали улетать, когда я за ними пошла. Может, так и цапля к нам во двор залетит. Постоит задумчиво.

«Осенний крик ястреба». Сколько ястребов сидит вдоль автострад на столбиках, на которых крепится решётка ограждения, сколько парит над полями. Как же мне раньше в голову не пришло – толчок-то от Дилана Томаса – «Над холмом сэра Джона».

У Бродского отстранённой – как всегда, человек в плаще, которого тут, впрочем, и нету.

У Томаса – не обойтись без прямого собственного свидетельства...

*and I who hear the tune of the slow,
Wear-willow river, grave,
Before the lunge of the night,
the notes on this time-shaken
Stone for the sake of the souls
of the slain birds sailing.*

А у Бродского:

*И на мгновенье
вновь различаешь кружки, глазки,
веер, радужное пятно,
многоточия, скобки, звенья,
колоски, волоски –
бывший привольный узор пера,
карту, ставшую горстью юрких
хлопьев, летящих на склон холма.
И, лоя их пальцами, детвора
выбегают на улицу в пестрых куртках
и кричит по-английски «Зима, зима!»*

И тут же возникает голос Уолкота
*The flakes of November will carry you further into
a soundless country and the dark gather around*

*the lanterns of leaves, their piles of ash, then winter;
where you stand like an exclamation on a page
of white ground.*

Как заплетаются разноязыкие слова, как скачут мячиками ассоциации, как вплетаются в собственное мышление, в ассоциативность – пейзаж до Моне таковы ли, как после?

А вечером я шла по городу в тёплых волнах – острее нет чужой скользкой мимо жизни, чем вечером в Париже – шаги, столики, случайные взгляды, жесты, руки держат бокал вина, руки взлетают в разговоре – пахнет жимолостью и жасмином.

Липы вот-вот зацветут, и черешня медленно, на глазах, краснеет.

И, П – в слове «липа», перешёптыванье *Ч* и *Ш* в черешне...

1987-ой

Июль в Риме. Жилые кварталы. Улицы, обсаженные олеандрами, стены жёлтые, стены рыжие, стены облупленные, стены покрашенные. Дверные проёмы – входы в тёмные прохладные пещеры – в итальянские бары, похожие на чьи-то кухни с за стойкой висящими перевёрнутыми бутылками (сколько сортов ликёров – 30, 50?) – какие-то мужички в карты играют – жара – «Colli Romani» – почти прозрачное, почти водичка, из огромной бутылки – в бокал. Столик на улице. Жара. Тишина. Время. Я тут живу, я?

Сентябрьская жара иная, не летняя, хотя бы потому, что когда сидишь вечером на любимой площади Контрэскарп, пьёшь белое пиво за столиком у края тротуара – глазеешь, как водится, на народ, – лучшее место, чтоб смотреть на повседневность – встречаются, прощаются, молодняк вприпрыжку, – ну, вот ничем не хуже, чем в Туари глядеть на повседневность макак на островке, где их царство, – макаки, – одновременно монахи и соблазнитель-черти со средневековых картинок – рыбку удят, кривляются, на верёвках качаются, – и вот пока глазами хлопаешь, да пиво пьёшь – вдруг откуда ни возьмись накрывает бархатной мягкой темнотой – сентябрьское тепло...

2015-ый

На острове Ситэ в пятницу ранним вечером, как ни удивительно, было мало народу. Нотр Дам залита закатным светом. И к счастью, никакой туристской толпы. Мы с Аней зашли внутрь. Попали на вечернюю службу – солнце через витражи пятнами на стенах, хор.

И в рифму – Вильнюс в весенние школьные каникулы в девятом классе – Святая Анна на закате, столбы падающего света, прозрачный голубоватый воздух и пение из раскрытых дверей костёлов. Вдруг весна – из свирепого ленинградского марта.

Как всё последнее бульдожье время, я на Ситэ фотографировала в парижскую будущую книжку. И изумлялась, обнаружив неизвестное, прямо, как Васька выра-

жался, за жопой у Нотр Дам. Отсняв намеченное, мы шли уже к мосту.

Когда мы проходили мимо одних густо-синих ворот (частый в Париже цвет), два человека, катившие в коляске младенца, как раз их открыли, набрав код. Мы как-то замешкались, и высокий лет сорока мужик пригласил нас зайти. Здесь – говорит – жили нотр-дамские каноники, поэтому и улица так называется – rue Chanoinesse. А вы – спрашивает – по-русски говорите?

– А как вы узнали? Мы ж ни слова по-русски не сказали.

– Да, по акценту.

Надо сказать, что мой безобразный акцент за русский не принимают, – неграмотные из-за прр считают его итальянским, грамотные – и вовсе не знают, куда отнести. А у Ани акцент совсем слабый и тоже, вроде, неопознаваемый.

Так что, может быть, мы повстречали Хиггинса – он нам, к тому же, сказал, что и ответить мог бы по-русски.

Хиггинс провёл с нами маленькую экскурсию по собственному двору – вот лестница 18-го века, а эта – 19-го, и обратите внимание обязательно – вот большой плоский камень среди булыжников обычных – если в парижском дворе вы видите такой камень, значит здесь топили дровами, а на плоском камне их кололи.

Женщина с младенцем терпеливо его ждали. Улыбнулись, попрощались, вдвоём подхватили коляску и скрылись на лестнице 18-го века.

А мы ещё постояли в стремительно темнеющем дворе, я его поснимала в уходящем свете, да и отправились восвояси.

2014-ый

Шла когда-то железная дорога вокруг Парижа. До середины 30-х по ней ходили поезда, а теперь, как это часто бывает с заброшенными железными дорогами, там пешеходная тропа. Рельсы остались. Трава между шпалами.

Мы гуляли там и встретили на насыпи одинокий декабрьский мак, декабрьские ромашки и декабрьские васильки.

И станционный домик, – из Спящей красавицы – перед ним скамейка, герань, – застывшее время – замерший паровозный крик, огромные красные колёса замолкли в траве.

Насыпь на уровне вторых-третьих этажей – заглядывая в чужие окна, смотри – не хочу – на чужие ёлки и чужие кресла.

Когда мы вышли на улицу, то оказались возле дома Васькиного приятеля Славки Станкевича – его давно уж нет – и эхо наших разговоров в его квартире со скрипучими полами, с геранью за окнами, я услышала за стуком давних колёс, – разбежаться, зажмуриться – и ласточкой нырнуть в девяностые – только оттолкнуться посильней...

Ужасно мешает моё редкостное незнание истории – читаю про какого-то бургундского Жана Бесстрашно-го, который убив брата короля, со страху заточил себя в башню, и повисает прочитанное в воздухе, не цепляясь крючком за другие знания. Васька вечно говорил, что

главное – знать, что происходило одновременно в разных местах, и тогда получится представление об истории. Правда, он не то чтоб реально хорошо её знал – вечно путался в веках, да и про события уйму разного просто выдумывал. Ему это не мешало – только окружающим трудно было отделить правду от того, что Васька придумал.

Я бродила по местам, в истории особо не прославившимся, – разве что тем, что по гребню нынче городского холма, над загнанной под землю речкой Бьевр, проходила оборона Парижа во франко-прусскую войну, о которой мы знаем, к примеру, из рассказа «Пышка».

А встретила я артезианский колодец на площади имени Верлена, – мало того, – люди к нему приходят с тележками, полными пустых бутылок, и долго бутылки наполняют.

Потом побродила по окрестным улицам и ещё раз подумала – стоит отъехать от самого центрального центра, как Париж стремительно превращается в деревню.

И встретила двух голубоглазых приветливых львов. Они лежали возле омерзительного, как большинство построек 30-х годов, здания (из тех, что Васька корбюзьятиной звал), и скорее всего появились одновременно с ним, и меня с этим нелепейшим домом львы даже примирили...

Ну, а к вычитанным в книжке барельефам 16-го века и неизвестного авторства я бежала по следу под крапающим дождиком.

И сейчас мимо автобуса резво идут промокшие фонари, и этот январский мир хочется слегка выжать и отправить на просушку, как какой-нибудь Румянцевский сад в детстве.

А когда мир высохнет, и заблестит, и встряхнётся, и время прокрутится обратно магнитофонной кассетой, мы с Васькой исправим ошибку в одном переводе из Сильвии Плат, в стихе про пчёл, и в парижской книжке исправим ошибки, а Машка с мамой будут валяться под грушей в саду, и будут жужжать шмели... И Машка в давным-давно приедет в Париж с Яшкой, потому что теперь мы знаем, что Васька с Яшкой не пооткусывают друг другу голов...

Собака Катя будет есть гормоны и не станет болеть...

И собака Ньюша по-ахматовски будет встречать гостей царственной лапой и улыбкой...

Послепраздничный город ещё даже не ждёт весны. Хочется убрать ёлочные украшения, как грязную посуду после ужина. Предвкушение на всём скаку превращается в послевкусие, и нет грустней последних дней промелькнувших зимних каникул.

Вот он, январь, ледяной даже в +3, и мёртвые жёсткие ветки протыкают небо.

В феврале станет легче, ворвутся мокрые запахи, заполощут бельём на верёвке, будет светлей по вечерам и совсем светло утром.

2014-ый

Я уехала на площадь Республики фотографировать для парижской книжки. И всё было хорошо – что нужно, находилось, только вот небо, синее утром, стало беспробудно серым, и лишь почти на закате вдруг пелена враз превратилась в развесёлые облака.

А бродила я по милейшим местам – например, по кривому проходу, куда выходят задние двери каких-то магазинчиков, а потом там ступеньки вверх, на другую улицу, и оказывается, тут была городская стена 15-го века. Мимо мэрии 10-го района, которая почти копия, только слегка уменьшенная, огромного изукрашенного Луарского замка Шамбора. И зачем 10-му району такая мэрия, не влезаящая в объектив?

А потом прибрела на ту самую Каирскую улицу, где мы с Бегемотом жили в 88-ом году, – шла и думала, что я ведь не узнаю нашей двери, сторону только помню... И не узнала... И дошла до Каирской площади, к которой собственно и направлялась, где стоит изукрашенный египетской фиғнёй дом – было в Париже помешательство на Египте, когда Наполеон там победительствовал.

Сфотографировала дом и обратно пошла – и с другой стороны узкой Каирской улицы увидела нашу дверь – таким несомненным очевидным узнаванием – она, и номер на ней, – погребённый, забытый – ну, конечно же он – 43...

Когда-то мы с Васькой возили Бегемочью маму по соседнему с нашим Медоном городку Шавиль – Васька его котым городом звал – она пыталась вспомнить дом, где около года жила с родителями в детстве – эдак лет

тогда 75 назад... Кружили по улицам – чёрт его знает, его ли нашли...

В набегающих сумерках я неслась теперь уже по знакомым местам, снимая старинные вывески, башню, где бургундский герцог скрывался от врагов, каменную рыбку над входом в разрушенную часовню, которую, мучаясь совестью, отстроил некий гражданин, сдиравший деньги с каждой проданной на соседнем рынке корзины рыбы. И вышла к ресторанчику «У свинячьей ноги» – когда-то там в загончике с фонтанчиком, в домике на газоне проживал милейший маленький домашний свинчик по имени Оскар. Мы с Васькой и с Ньюшей ездили к нему в гости. И однажды он Ньюшу почти укусил за нос – она протянула доверчивый ньюфий нос над низким штакетником, которым владения Оскара были отделены от тротуара, а он пошёл на неё, разинув пасть. Естественно, нос Ньюша отдёрула, но всё равно обидно. Потом Оскар исчез, и нам сказали, что он уехал в деревню...

А сегодня я увидела перед ресторанчиком стенд с меню – «Оскар»...

Когда мы общались с Оскаром? В середине 90-х? В начале? Когда интернета не было, а в Париж можно было ездить из Медона на машине и парковаться на запретных мостах – за это не штрафовали.

Упала тьма, – золотые фары на мокрых улицах, ненужная уже ёлка у Нотр-Дам и пронзительно белые в темноте взмахи чайчьих крыльев над ночной рекой.

Столики на улицах, на маленьких площадях – как в театре – обращены не к друг другу, а на сцену – мама, когда приезжала, усаживалась в кафе с книжкой и не

столько читала, сколько глазела на прохожих. Иногда дважды видишь одних и тех же людей – проходят мимо в одну сторону, потом в обратную.

На площади Контрэскарп стриженная, в джинсах, очень немолодая женщина – впрочем, со спины возраст не виден – стройная спина, длинный шарф – сидела за столиком, зарыв нос в многостраничную предвыборную газету, которую теребил ветер и в конце концов унёс хлопающую крыльями пару страниц. Перед ней стояло блюдо с арахисом и стакан пива, потом ей принесли салат.

Прилетел воробей, мелко дрожа крыльями приземлился на столик. Внимательно оглядел людей вокруг, окрестности, припрыгал к блюду, забрал орех и улетел. Женщина обернулась к нам, и все мы засмеялись – мы сидели во втором ряду, а она в первом.

Второй раз воробей появился минут через пятнадцать – за следующим орешком. Если конечно, это был тот же воробей, а не брат его, не сват. До чего же плохо отличаем мы незнакомых существ другого вида. Не тут ли кроется основа ксенофобии?

Кроме как с воробьём, женщине за столиком приходилось делиться едой со своим невоспитанным спаниелем – если он получал что-нибудь съедобное недостаточно быстро, то начинал карабкаться на стул, ныть и даже лаять.

Прошёл человек с белой лабрадорихой. Заметив спаниэля, лабрадориха обернулась, развесила уши и не захотела дальше идти – будто впервые видела такого невоспитанного пса. Даже головой с укором покачала.

Молодая женщина с огромной гривой по плечам пробежала через площадь на конце натянутого поводка.

Юный рыжеухий лопоухий охотник совершенно с ней не считался – самое интересное было впереди – и нужно скорей! Потом они появились опять – в сопровождении мальчика лет четырёх – теперь девочке было совсем тяжело – лопоухий тянет в неведомую даль, мальчишка виснет на руке и что-то рассказывает.

У «Кайзера» как всегда очередь на улице – минут на пять – там сейчас новый хлеб – скучно же вечно печь одно и то же – с гречневой мукой багеты – тёмные и вкусные.

Наверно, главный запах Рима – горячие пинии. И запах у них слаще и мощнее, чем у северных сосен. Рим продувается со всех холмов, в квартирах по мраморным полам ползают упавшие со стола бумажки. На холмах – сплошная зелень. И что-то ещё травяное остро-сладкое. Бывают противные улицы под холмами, где ветер носит взад-вперёд запах бензина, но таких мало. А ещё кофе, запах кофе. Ничто не сравнится с итальянским кофе. Половинка маленькой чашечки – это эспрессо. Капучино в средней чашке – настоящее только в Италии. И итальянские «бары», похожие на уютные кухни. Сидишь у стойки в полутьме и смотришь на улицу. Слишком сладкие булочки, треугольные бутерброды со всякой ерундой, римское белое вино – такое лёгкое, что можно пить в середине жаркого дня. И ещё арбузы, которыми летом торгуют на всех углах и, когда возвращаешься ночью, невозможно не купить толстый ломоть арбуза – разрезанные арбузы по ночам пахнут на всю улицу.

Запахи после дождя будто наконец выпускают из закрытой обувной коробки, где они лежали до поры до времени, свернувшись и пощеньячи посапывая.

И вот – выскакивают, носятся по улицам, сталкиваясь и разбегаясь, щёлкают по носу. Юные клейкие тополя, сирень, прибитая пыль.

И, ударяясь о запахи, раскрываешь глаза, и каждая мелочь занимает своё место, и мир формируется из всякой ерунды – и покачивается в вечернем свете – доброжелательный, хоть и несправедливый, но гармоничный, как Шартрский собор.

Чёрный мокрый липовый ствол, просвечивают круглые нововылупленные листья, ещё рифлёные, смятые – похожие на юного страусёнка, хранящего форму яйца – я такого видела в Туари. Но листьям-то чью форму хранить?

Мокрая балюстрада – тёмные пятна на светлом камне – отражается в луже.

И очень пожилая лабрадориха, светлая седая со слезящимися стариковскими глазами, тычется мне в новые джинсы – как они успели ненадёванные пропитаться Катей? При ней интеллигентный очень немолодой хозяин – на одном поводке лабрадориха, на другом беспородная грязно-белая болонка – мы улыбаемся друг другу, будто давно знакомы, они втроём заходят в подъезд, а я иду к набережной со сжавшимся горлом.

Там на закрытом на замок букинистическом лотке – сорванная ветром тополёвая веточка – всего-то три листика – трепещет, пахнет – золотисто-зелёная на тёмно-зелёном цвета садовых скамеек – под шум машин, под сирень, прижавшуюся к Нотр Дам, под густо-розовые каштаны.

2006-ой

День музыки – славный праздник.

По-французски лето начинается с самого длинного дня в году – и это праздник начала лета, самая короткая ночь.

Играют и поют. И по-всякому красят волосы смываемой краской.

Раньше в этот вечер я обязательно болталась по улицам. Последние пару лет нас в это время не было в Париже, а вчера я как-то поленилась – побродили с Катей по лесу, попали под дождь долгожданный, я даже переодеваться не стала.

Наверно, я любила гулять в весёлой разноцветной толпе, а сейчас порог вынесения даже самой симпатичной толпности куда-то сдвинулся.

И ещё – не люблю я рока, а его всё-таки куда больше в день музыки, чем джаза и классики. И громче он.

Но это, конечно, так, отговорка. Можно бродить по местам, где классика и джаз – к тому же, в газетах пишут, кто где играет, так что не в этом, конечно, дело.

В голове смешиваются даты, умею только от печки какой-нибудь отсчитывать. Лучший день музыки – мы бродили большой толпой с мамой (она летом всегда на два месяца приезжала), с Синявскими и их гостями – и уже под утро около пригородной станции – на площади – оркестр, и танцевали танго.

Вроде бы, почти вчера...

Шла по городу. Раздвигая густое летнее плотное парижское пространство-время.

У меня не было аппарата, я не прицеливалась, не пыталась завладеть чужим пивом в чужих стаканах.

Давно нет дождей, на листьях тонкий слой пыли.

Шла, в собственном стеклянном туннеле, пробитом в городской летности – целуются, болтают, на столиках тарелки, бутылки, стаканы...

Когда-то это пространство было для меня каникулярным пространством отделённости, не беззаботности, но отдельности повседневных забот.

И сейчас, когда иду одна по городу, – карусельные лошадки, скамейки – отодвигаюсь от себя, – нельзя стать никем другим – но сегодняшними глазами можно глядеть во вчерашнее, а вчерашними в сегодняшнее.

И что я ищу в тамошнем, в мелочах, к чему протягиваю руку – сквозь какую свою череду жизней?

На Трокадеро продают птичек – в прошлых жизнях их тоже продавали, тех самых идиотских китайских птичек – в восьмидесятом, когда впервые я шла через площадку напротив башни, глядя на башенные огромные ноги.

Волшебные палочки, как мы, благодаря Роулинг, знаем, помнят всё, что совершали с их помощью, и скамейки помнят, кто на них сидел, куда помним мы.

А эта моя теперешняя жизнь – до неё во всех прошлых – я стрекозинствовала, теперь приходится муравьиствовать.

Муравей от стрекозы отличается отнюдь не трудолюбием – только тем, что муравью приходится отвечать...

Вот и боишься теперь совсем другого, чем тогда...

Вот я бы сегодняшняя – да в тогда – да ни черта б не боялась – но это тогда – оно со мной в этом густом летнем пространстве – то самое слоистое сколько-то там лет назад, – со страхами, огорчениями, неумениями.

Под мостом поставили у самой воды деревянную лощадь. Доберман бегаёт кругами, лает на неё. И скамейку поставили деревянную с двумя деревянными человеками, – самое место, чтоб фотографироваться – у них на коленях.

И всё – пора в метро, и домой, домой...

«В дождь Париж расцветает точно серая роза» – тополиные золотые листья устилают набережные. Горят обогревалки над уличными столиками, но если садишься за столик и навес неширок над ним, – морось задувает прямо в нос.

Бежит по листьям светлый голден за брошенной ему палкой. С рюкзаком неюный дядька, которому надоело идти по асфальту, проходит по системе брёвен, уложенных чуть поодаль от воды, чтоб не упали в реку дети, которые по ним обычно ходят, покачиваясь бычками.

Обнявшись, идут, помещаясь под общим зонтиком, пары. Под мостом, спасаясь от водяной пыли, седой мужик болтает по телефону, а дети, бросившие самокаты, устроились в карты играть.

Идёт молодая девчонка с непокрытой головой и на ходу книжку читает – намокнет книжка-то.

Лет четырёх мальчишка катит на самокате, отталкиваясь обеими ногами, и очень почему-то похож на кузнечика.

2017-ый

На rue Montorgueil в ресторанчике под золоторогой улиткой – на этой улице сплошные вывески девятнадцатого века – огромные бургундские улитки под рислинг – и выходим с Машкой на улицу в половине шестого тёмной осенней ночью – ранними осенними ночами в городе матово через мокрую пелену горят фонари – сейчас – двадцать лет назад, когда все были живы-живы-живы. И все наши и не наши не-призраки идут рядом по мокрой мостовой. И я беру Васюку за руку – и мимо пришвартованных барж, под его ругань, что мокро, и вообще кто придумал зиму. Плывёт по Сене бутылка изпод виски. А вдруг в ней записка? Но неудобно лезть в осеннюю присыпанную тополиными листьями воду, да и не дадут – засвистят-затопочут. Вот и цокот копыт – двое конных полицейских – одна лошадь в попоне – а хвосты-то как расчёсаны – это не Танин хвост в колтунах. Цок-цок-цок, заворачивают за угол.

Время падающих каштанов и слепящего вечернего солнца. Нырнули в очередной год, и плывём, плывём – вот уже и сентябрь проплыли. Легко стать солипсистом, перемешивая в кучу времена, перелистывая с картинками книжку.

Сидим на углу Сен-Жермена, отделённые от улицы полиэтиленовой занавеской, от газовой обогревалки – жарко.

За соседним столиком мужик – чёрная борода, шерстяные руки, глаза горят, – болтает с девчонкой – она сидит спиной, за громадной растрёпанной светлой гривой её и не видно. Мы тоже болтаем, и из их разговора доносятся только какие-то отдельные фразы.

Как когда-то в Ленинграде носом я чувствовала своих – в мелких переулках у Бана их много водилось, так вот и в Париже – урожайно на Левом берегу между Жюсьё и Сен-Жермен-де-Пре.

Новогодний одуванчик под платаном на набережной, чайки из Тюильри кружатся над площадью Согласия, пролетают низко над головами, над машинами, которые вдруг в тёплом декабре, на минуту неподвижные у светофоров, звучат по-цикадски негромкими моторами.

А на нашем рынке мои знакомые продавцы опалают куриц газовой горелкой, похожей на туристский прикус, напоминая о газовой плите с въевшейся грязью, стоящей на коммунальной кухне, где мама или бабушка над конфоркой палили остатки перьев с синей советской курицы.

И пялишься на неощутимое время, оглядываясь назад, на секунды, скакавшие на стенке центра Помпиду, отсчитывавшие время до двухтысячного года. Жаль, больше они не прыгают, указывая на то, что и новый век будет, как ни крути, и проходя по набережной мимо музея современного искусства (l'art moderne) брюзгливо

задаёшь вслух вопрос – а откроют ли, интересно, музей l'art postmoderne.

А проходя мимо русской столовой (la cantine russe) с невъебными ценами – салат chuba за 18 евро и blinis с икрой за 150, как не вспомнить столовую в Пасси (где-то, небось, рядом, за углом), куда в тёмный дождливый вечер заглянул герой моего любимого бунинского рассказа – вчера – лет 80 назад.

Блестят залитые солнцем бокалы, тень от фонаря железно неподвижна на белой стене, и не хочется ни га-лош счастья, ни поселиться в чьей-нибудь дружественной шкуре, – остаётся только завидовать самой себе во времена, когда впереди была вечность – но это так же непродуктивно, как пытаться посчитать часы, выкинутые, к примеру, на чтение чуши – да и что главней – предвкушение праздника, или праздник?

Рыжая почти что переполненная Сена почти не-сётся под мосты, и зеленеет необлетающая ива на носу острова Ситэ. Если б ещё всякие дебилы на уродовали мостов идиотическими замочками, при взгляде на кото-рые мне представляются выпяченные губки сердечком со стародавних безмятежных открыток – ну да что уж – человек – животное глупей мартышки.

За ужином мы выбирали картины – каждый – одну единственную, которую повесил бы в доме и жил бы с ней. Я хочу жить с Моне – с тем, где в сумерках за стек-лянной дверью по саду проходит женщина в красном платке – а я смотрю в сад через стекло, из дома...

В нашем лесу на полянке под платанами вырос де-кабрьский юный щавель. Мама считала, что в Новый год обязательно нужно что-нибудь новое надеть, ну, хоть новые чулки, я давно уже не надеваю нового, хоть бы по-

тому, что этого нового в доме не оказывается, но завтра я смогу новое сделать – я пойду собирать щавель – впервые в Новый год!

Парижская негромкость, неяркость вместе с чужими разговорами в кафе проникает под кожу.

Декабрь 2011-го

Мы с Альбиром попали на выставку Сезанна. Случайно. Так, как и надо бы попадать на выставки. Только никогда не получается, потому что обычно в Париже на всех выставках дикие толпы, очереди. А тут – не было. Народу было много, но как-то правильно много – минут пять постояли у кассы, чтоб билеты купить, и к картинам пошли.

Не знаю уж почему нам так повезло – может, дело в первом каникулярном викенде, в том, что изрядно разъехались парижане, в солнечном дне, в скромном названии – «Сезанн и Париж». Мы просто шли через Люксембургский сад, ни про какую выставку не зная, – и вышли к Люксембургскому музею, прямо ко входу.

Сезанн, конечно, в мировосприятии совсем не Париж – Экс-ан-Прованс, гора Сент-Виктуар, тамошние южные люди. Когда едешь по автостраде мимо Экса, появляется щит с надписью «Пейзажи Сезанна» – и даже с трёхполосной дороги видишь – вот они, кривые синие сосны – лезут вверх по склону.

Но и в Париже Сезанн провёл совсем не так мало времени. И в Фонтенбло он скалы писал, и нагроможденная парижских крыш, а из-за них вдалеке торчит Эйфелева башня, слегка дрожащая, преломлённая в неярком облачном свете.

И пятна грязноватого снега на подмёрзшей земле, и голые тополя со своей тополиной всегдашней готовностью пустить побеги, и церковный шпиль, отражённый в Сене. Весомые облака, вылепленные, тяжеловатые. Кусты, крыши и шпиль – как ещё небо с землёй соединишь.

На стене карта – места, где Сезанн бывал в Иль-де-Франсе – городки на Сене, на Уазе. К Моне в гости в Живерни ездил.

Портреты. Жена в красном кресле сидит, сжав руки и губы, напряжённая. Большой бородатый человек нежно глядит на маленькую кошку у себя на коленях.

Натюрморты. Лимон бледно освещает холст. Кружка белая, почти щербатая, почти кривая, будто руки мяли её, сжимали. И хочется молока налить. Тяжёлый батон улёгся на стол. И луковица – кособокая, невзрачная, крепкая, и жестяной кувшин, – глядя на него слышишь, как плюхает в нём молоко, а может, вода из колодца.

Выходишь – с ощущением покоя, как из лесу – всё в порядке, и как дверь у Митрофанушки – та, что прилагательная, потому что к месту приложена, а не на чердаке валяется, так и тут – лимон, луковица, кувшин, крыши, шпиль и человеческий взгляд – всё на месте, всё живёт.

Город делается своим, когда знаешь, где какие деревья растут – катальпы у Жюсьё и на Контрэскарп, розовые каштаны у Нотр-Дам, у воды тополя, на верхней набережной у Орсе – платаны. Ива на корабельном носу острова Ситэ, сакура возле «Шекспира», а её соседка пробивает через аккуратную дырку тент моего любимого кафе, где пианист по вечерам...

Хоровод – собаки, люди, клумбы, – и деревья – почти вечные, почти, как старые камни, но цветут!

В субботу в городе в лёгкое апрельское лето, когда нога за ногу бредёшь, и сирень у Нотр Дам слегка запылённая, бледноватая, не рвётся, как в пригородах, радостная, бешеная из-за заборов, и отцветают сакуры, и пружинят под ногами лепестки толстым ковром.

И прохожие, и обрывки музыки, и зацветающие каштаны, и в Люксембургском саду на газонах, как на пляже в середине лета...

Фонтаны на площади Сорбонны, солнце в пивных кружках, зонтики, мороженое.

В городе, так не бывает в лесу, в городе – сжимает горло ностальгией.

По себе когда-то? Заглядываешь в лица прохожих – смеющихся, целующихся – ищешь себя?

Но ведь не был в юности ни лучше, ни умней, ни счастливей.

И грызли страхи, и из мух вечно вырастали слоны.

Так почему, почему – неужели только потому, что где-то-там впереди – невнятное громадное сейчас.

И юность попросту предвещала, как пойдёшь по улице, сунешь нос в сирень – с тоской и памятью, а там и очередь за мороженым в декабре, в ветер, и наводнение на Сене, и чёрный поросёнок Оскар, живущий за заборчиком у ресторана возле Les Halles, кладёт мне в руку мокрый пятак, но пытается укусить Ньюшу за протятый для знакомства приветливый нос.

И столики на улице, и мосты, и мама у цветочного магазина на Бюси, – недовольство, беспокойство, старое кино...

И прошлогодний снег – мокрый холодный нелюбимый.

Летние люди отличаются от зимних людей. Они вольно, расслабленно сидят за уличными столиками. И лица обнажённые, и когда проходишь мимо, то глядя на пену на светящемся в предзакатном свете пиве в стаканах и кувшинах, завидуешь чужой беззаботности и отсутствию горестей.

Впрочем, когда садишься за столик, вытягиваешь ноги, и тебе приносят это вожделенное холодное пиво, то можешь подумать про то, что прохожие завидуют

твоей беззаботности и отсутствию горестей. Ведь и твоё окно для проходящих мимо – чужое, то самое, за которым всегда всё хорошо.

Тёплый ветер вдоль улиц с запахом лип, каштанов, пыли.

И не решить, чего вечером больше хочется – бежать на закате в лес, или брести по набережной, глядеть на летних людей, сидеть в кафе на Левом берегу напротив Нотр Дам, где по вечерам роаяль.

*Запахом свежего хлеба и кофе
Отличается утренний город от вечернего,
И ещё угасающими цепочками огней...
А вечерами – в застывшем равномерном свеченье
И дома почему-то видятся в профиль,
И запах бензина – куда сильней.*

*Но, уйдя из улиц, люди, как боги
Зажигают в сумерках за окном окно,
И превращают вопреки дневной тревоге
Не воду – кофе в золотистое вино.*

17 января 2012

2009-ый

Двадцать пять лет назад в Риме всё было дешёво, в Париже можно было легко запарковать машину, на Mont Saint Michel было мало туристов и мало сувенирных киосков, мир был безалабернее, мужики часто ходили с

хвостиками и никогда не брились наголо, а мне было на 25 лет меньше.

Двадцать пять лет назад не было интернета, звонить по телефону за границу было дорого, многие люди, с которыми я сейчас общаюсь, только что вылезли из колясок, а я считала, что мне уже очень много лет.

Вчера, сидя с Машкой в кафе на площади Сорбонны около неработающих из-за засухи фонтанов и попивая белое пиво, я вдруг поняла, что жить мне сейчас намного легче, чем 25 лет назад – ведь тогда я только и думала о том, как бы не прогадать, выбирая жизнь – всё было впереди, всё можно было десять раз изменить, а сейчас уж приходится жить своей жизнью, а не будущей, и это, вообще говоря, проще...

2008-ой, Рим

Протекает река, медленно, мимо дворцов и статуй, облупленных охряных домов, огромных, почему-то пронумерованных платанов – завивается, петляет, огибает, и опять течёт мимо тех же домов, дворцов, может, ещё сильнее облупившихся за сколько-там лет, тех, которые ничто по сравнению с вечностью.

И ребёнок с мамой в автобусе – может быть, будущий с картины Нестерова, только недоросший ещё до подростковости, а может, из чёрно-белого послевоенного фильма.

Вилла Ада на краю города плавно переходит в лес, уходящий за край карты, за *racordo annullare*. В чащобу, в заросли. И почему это парки в Риме называются виллами?

За неделю обзаводишься знакомыми собаками. Толстые старые бульдог и такса, встреченные на поляне под пальмой, где они медленно переставляли одышливые лапы, на следующий день были замечены из окна автобуса – в парке были с дяденькой, на улице с тётенькой.

Стрижка пальмы, – дяденька в люльке чикает здоровенными ножницами.

На нашей улице громадное мимозовое дерево, цыплячи шарики сыплются на мостовую, на ветровые стёкла стоящих машин. Горький запах откуда-то из чавкающих улиц, тающего снега, восьмого марта.

Странны олеандры без цветов.

Февраль – не зима. Дождик ночью. И опять река. И кричат сытые наглые громадные чайки, под их тяжестью гнутся головы голых мраморных людей.

И личная собственная река завивается кольцами в пространстве.

А может, на оси ординат вечно увеличивается время. А пространство – абсцисса. Точки, точки.

Голые виноградники, крадущийся запах дыма. Февральские чахлые железнодорожные маки. Мусор.

Единственный кот на Авентино, в апельсиновом саду, откуда на купола, крыши, башни смотреть – пир. Коты оттуда ушли, когда слишком уж чистыми стали дорожки, Когда-то тихий и пустой сад за полуразрушенной стеной. Апельсины кислы почти до несъедобности, а сад вошёл в путеводители, почищен, помыт, прекрасен – но не надо трогать облупившуюся охру, не надо освежать и подкрашивать, пусть лупится и тихо стекает. *Vecchia, molto vecchia*, как сказала нам законная старуха в городке Cerveteri в 79-ом году.

Записка на дереве – с фотографией огромного голубого котищи (уж не его ли я снимала два с половиной года назад?) – а теперь он погиб, его до смерти закусала чья-то большая собака, незаконно спущенная с поводка в котьем саду. Прокусила ему лёгкое, ветеринар обнаружил следы огромных зубов. В записке на дереве просят, если кто видел негодяйского хозяина собаки, сообщить подробности карабиньерам.

Привыкаешь к домам, а потом забываешь адреса. Via Belluno? Там мы жили летом 87-ого с Борькой Ф. В олеандрах, жёлто-розовая, недвижно раскинувшаяся в жару, вечером мужики за картами в кафе. Почему кафе называют тут барами? Сумерки за автобусными окнами. Дворцы в стиле модерн.

И устрашающее – всё когда-нибудь будет в последний раз. Хватит ли на всю длину потёмок?

Трава на крыше Пантеона, трава между мокрых блестящих булыжников под ногами.

Что же это за улица мощёная травяная пустая, резко вверх, где-то за задворками Тревви? Никогда не запомнила названий, потеряла, не успела найти.

И чужие реки, с которыми пересекаешься всё в тех же сгустках пространства.

Родные чужие и чужие незнакомые.

И телефоны-автоматы на Навоне, то ли я из какого-то лет десять назад звонила, то ли только собиралась.

Очень громкий город. Если не скорая помощь, так мотоцикл, а если не мотоцикл, так звон вилок из окна на пешеходной улице.

Живое движется через неживое. Лупись, охра! Неподвижное утро на площади в Трастевере в 79-ом году.

Единственное сонное кафе вместо нынешних четырёх ресторанов.

Трас-Тевере – За-Москворечье.

Брешь Роланда – снежный перевал в Пиренеях. Роланд трубил там в рог Олифант, а слышали его только сейчас. Идут и идут, всё спешат на помощь.

И дует, дует, дует, надувая щёки, Тритон с фонтана Треви. И течёт вода.

И всё-таки наука куда положительней искусства. Задаёшь вопрос, ищешь ответ, а не бьёшься об уже сказанные слова.

И всё равно приходишь к флорентийскому синему заднику с белыми облаками.

Апельсины и лимоны, и маслины, и тёплые камни. И чайки, громадные как страусы, на маленьких головках хиловатых статуй – зевают, разевая клювы, сворачивая отсутствующие челюсти.

АВЕНТИНО

Над небом голубым...

Анри Волохонский

*В центре Рима,
В центре мира
Есть квадратный сад,
Он навис над центром Рима,
Зеленью неистоцимой
Ослепляя взгляд,
И повсюду апельсины
На ветвях висят,*

*Этот холм над Римом выше
Остальных холмов,*

*И внизу желтеют крыши
Городских домов,
Купола соборов – мимо! –
Где-то там торчат,
И висит над центром Рима
Апельсиновый, незримый
Колдовской квадрат,*

*И на древние руины
Глядя с высоты,
Там катают апельсины
Всякие коты:
Серый, чёрный, рыжий, белый,*

*Наглый, робкий, хитрый, смелый...
В мире рыжем и зелёном не хватает слов
Описать неторопливо
Это истинное диво –
Волейбол котов.*

*Рыжим по уши заляпан,
Каждым когтем прав,
Некто катит рыжей лапой
Солнце в гущу трав!
Разбегаются кругами
И шуршат травой
Апельсины под ногами
И над головой.*

*Так висит над центром Рима,
Но от Рима спрят...
Апельсинами палимый,*

*Котьей мудростью хранимый,
Яркий, праздничный, незримый
Колдовской квадрат.*

*И проходят люди рядом:
Низкая стена,
А калитка, что из сада,
Вовсе не видна,
За калиткой вниз дорожка
Сто шагов едва...*

*Видишь, пробежала кошка?
А ещё пройдёшь немножко –
Деревенская дорожка,
Меж камней трава.*

*Ни палаццо, ни соборов
Не отметит взгляд...
Тут легко скатиться в город,
А вот как – назад?*

*Ничего не видно снизу:
Только склон холма,
Стен облупленных карнизы,
И дома, дома...*

*Меж булыжниками травка
Вдоль глухой стены,
Все дома, все церкви, лавки
От-го-ро-же-ны...
Как попасть на Авентино,
Этот холм холмов,*

*Где катает апельсины
Множество котов?*

*Сад исчез? Искать не пробуй
И не забывай,
Что волшебная дорога –
Эта сельская дорога,
И не всякому дорога
В тот котовый рай:*

*В ком хоть каплю зла людского
Заподозрит Кот,
Тот дорожку эту снова
Просто не найдёт.*

*Лишь немногим в сад старинный,
В тот квадратный рай котиный,
Где катают апельсины,
Путь укажет Кот...*

*Авентино, Авентино,
Не закрой проход!*

28 июня 2007

***У меня в жизни два города – Рим, да Париж,
Париж да Рим, да был Ленинград – скрипящий
сейчас вилкой по тарелке чужим, да дыры –
жили, да не живут больше – умерли, уехали,
поменялись, – остался рваной прохудившейся
памятью, моими тополиными ветками, суну-***

тými в феврале в банку с водой, пустившими корни, да листья – жадно глядеть на зелёное.

Париж не меняется – какая разница, с компами сидят в кафе, или с блокнотами.

Рим? Риму почему-то тяжелей... Ему так мешают толпы, фонтан Треви вот с ними не справился – что к нему бежать – его и не увидишь.

В Рере, в нашем метро, уходящем за город, с длинными перегонами даже между городскими станциями, люди обживают пространство, если едут хоть десять минут – книжки, читалки, наушники, компы – кто работает, кто расслабляется, кто в окно глядит – угадать бы, о чём думает...

Несколько остановок, – повисшее в воздухе время – между работой и домом, между одной жизнью и другой. Раньше, до мобильных, это было очень личное время, куда никому не проникнуть. Человек в транспорте, или на улице, человек в пути, человек по дороге, был защищён от всяких новостей, даже от новости о конце света, если таковой наступал, пока он ехал...

Сейчас это время прошивается мелодиями мобильных – «ты где?» – «я в метро»... Конец света по дороге домой, к счастью, обычно не наступает.

Я очень люблю заглядывать в чужие книжки и читалки, смотреть, как кто-то с открытым компом умещается в ожидании поезда на крошечном каменном выступе, если скамейки заполнены – эдакая сопричастность этой чужой сосредоточенности на своём.

И ко мне заглядывают, – вчера вон поймала чей-то взгляд в экран телефона, пока я музыку искала, – интересно было кому-то узнать, что я слушаю.

Удивительна городская жизнь – трёмся друг о друга на тротуарах, сидим за уличными столиками, или за стеклянными витринами – глазеем, на нас глазают, плывём, окружённые прозрачными коконами, иногда перемигнёмся со случайным прохожим через два слоя защитной плёнки, – делим пространство.

Легче всех прорывают плёнки собаки и дети. Иду по улице, кто-то толкает в ногу – угу, чёрный нос зарылся под коленку.

В сентябре, когда я иду с работы – да, по любимой дороге – от Жюсьё к Сен-Мишелю – город залит вечерним светом – он пронизывает листья на тополях, и городская речка Сена сверкает и переливается под чайными криками.

2014-ый

Поехала вечером в город поснимать немножко на острове Сан-Луи ...

Конечно же, оказалась около прилавка с бертийонским мороженым.

Люди делятся на две категории – на тех, кто любит жирненькое масляное мороженое – из таких лучше всех флорентийское, и на тех, кто любит сорбеты – тут уж нет равных бертийонскому – шарики манговые, грейпрутовые, классические клубнично-малиновые, ясное дело – не выбрать никак.

Впервые я познакомилась с бертийонским мороженым, когда я приехала в Париж из Америки на Рождественские каникулы. Шёл дождь, Сена переполнилась и залила нижние набережные, на мосту приходилось из-за ветра придерживать капюшон. На острове Сан-Луи на улице стояла очередь за мороженым. Под зонтиками, которые прогибались от ветра.

Я тогда ещё не знала, что в парижские осенне-зимние дожди зонтик всегда выгибается – раза три выгнется – и хряк – нету зонтика.

Сейчас бертийонское мороженое продают по всему Латинскому кварталу, но сто сортов всё-таки только в большой деревне на острове Сан-Луи.

Я сразу вспомнила, как у Ремарка в «Тенях в раю», один из героев, попав в Америку, пытается попробовать все сорта мороженого.

Мне как раз в Америке этого совсем не хотелось – я более или менее разлюбила мороженое, наверно, классе в восьмом.

Мечтой детства было есть батончики за 28 копеек на обед – земляничные или черносмородиновые в шоколаде. Такая вот в высшей степени банальная и забанальная зависть к взрослым – они-то могут вместо супа мороженое есть.

Всё детство мы скидывались копеечками и после уроков ходили в мороженицу, пока не начали скидываться и ходить после уроков в чебуречную.

Но на Сан-Луи мороженое пахнет фруктами – лесной земляникой.

Я купила себе два шарика – горько-шоколадный и красносмородиновый. Красная смородина – любимая ягода моего детства – кислая-прекислая.

Потом я шла по пустынной боковой улице, ведущей к Сене, мимо пасущихся голубей и запаркованных велосипедов, лизала мороженое и получала удовольствие.

В единственной книге Кундеры, которую я люблю, в «Непереносимой лёгкости бытия», есть рассуждение о том, что у каждого – своё любимое общее место, свой любимый китч. У Кундеры героиня говорит о доме с лужайкой и выводке детей на лужайке, как о своём китче.

Я наслаждалась тем, что я брожу одна по городу и фотографирую – я так давно не бродила одна, обычно я по Парижу гостей вожу.

То ли ключ в замке повернулся, то ли занавес опустили и подняли – следующее действие – осень. Без предупреждения.

Сентябрь 2010-го

Позавчера мы ездили к зверям в Туари в лёгкий летний день, и жёлтые листья декоративные, раскрашенные, сияли на деревьях, и в траве у львов, у медведей росли подберёзовики, мухоморы – аляповатые, не хуже деревянных, с ленинградского рынка, а ещё грибы-зонтики и шампиньоны. И улыбался зебрёнок, и слон хоботом простодушно ласкал слоницу.

А вчера всё то же сияющее солнце, и сине-лиловое небо, но ветер подул, и пляшущие на асфальте сухие листья – грохотали жестью, и хоть с кораблика, на котором мы с Альбиром и Васькой покатались по Сене, я гляде-

ла на берега – Париж-пляж, да и только – голые люди подставляли солнцу ещё загорелую кожу, – надышаться перед зимой – всё равно осень, осень, осень.

Я попыталась снять на видео пляшущие на асфальте листья – тихо-тихо лежат, потом вдруг всплеском всё выше и выше, падают в штопоре и опять тишина.

За устрицами на ферму – через изумрудные поля. Мимо краснеющих листьями клубничных грядок. Мимо мягкой комковатой тёмной земли, – из неё в апреле первыми вылетят тюльпаны – разноголовые парадные ряды.

Тёплый коровий дух у входа в магазинчик, где в предбаннике красными пальцами, торчащими из обрезанных на пальцах перчаток толстоносый дяденька в очках отсчитал мне три дюжины устриц – с холоду, только что из моря.

Мимо зелёных полей и голых лесов, мимо лошадей в пополах.

Пока я смотрела почву, на мониторе захлопали крыльями чайки на фоне белой стены – я оглянулась – человек из дома напротив, высунувшись из окна, кидал им хлебные крошки...

На Муфтарке народ толпился у омаров и устриц.

Пока мы сидели в кафе на Контрэскарпе, под газовой обогревалкой, за стеклянной стенкой, вместо потолка – холщовый навесик с куском неба между ним и стеклом, – подкралась удивительно мягкая просвечен-

ная новогодними лампочками темнота, будто взболтали серо-прозрачную воду – и синее, лиловое, розовое поднялось волнами со дна.

Очередь у «Кайзера» за вкусным хлебом, я с трудом удержалась от блестящей коврижки с марципанами, вспомнив об огромной барашковой ноге в багажнике, – причём тут марципаны, если баран?.

Ёлка у Нотр Дам засияла золотом на мягком чёрном фоне – в шкатулке с другими драгоценностями.

Марья Синявская пару раз таскала нас с Васькой в Монмартрское кабаре «Ловкий кролик». Оттуда на машине мы возвращались в середине ночи – со свистом, хоть в парижские, даже и не уикендные ночи, народ на улице есть – и пеший, и велосипедный, и автомобильный – только вот конного нету..

*Это кабаре – милейшее, в конце девятнадцатого века возникло, и на вывеске там намалёван длинноухий кролик, который украл бутылку и с ней в лапах удирает из кастрюли. Ловкий кролик – он и есть – а вообще-то чистая игра слов. Вывеску нарисовал художник Андре Жиль (André Gilles), – *lapin agile* (ловкий кролик) и *lapin à Gilles* (кролик Жилья) – звучит совсем одинаково.*

Кабаре очень заслуженное – в начале прошлого века гитарист Фред, который всем в «Кролике» заправлял, сумел создать там место встречи писателей и художников – так

что и юный Пикассо там бывал, и с ним дружившие Макс Жакоб и Апполинер, и совсем молодой Эренбург там тоже появлялся.

Внутри там похоже на кухню в каком-нибудь деревенском доме – Монмартр, когда без туристов, вообще совершенно деревенский тихий. Деревянные столы, стулья тяжёлые, какие-то на стенах картинки и фотографии, пианино. Публика очень смешанная – туристы, ясное дело, есть, куда без них, но гораздо больше местных. Соседские старушки заходят туда на огонёк в домашних тапочках и подпевают исполнителям под недоумевающими взглядами японцев, которых туда приводят путеводители. Там всегда поют всеми любимое – и Брассанса, и Пиаф... Ну, и какие-то новые ребята с собственными песнями. Кроме пианино, ещё аккордеон, гитары – ничего электрического... Ведущие сидят среди зрителей...

Когда Марья нас туда привела, сияла она как самовар, – будто всё это кабаре со старушками в тапочках, лично она не только открыла, но и выдумала.

2011-ый

На этой неделе к нам приезжали в гости наши разнообразные партнёры – мы вроде как дружим с 70-ю университетами, что означает, что в каждом из них есть несколько мест для наших студентов-старшекурсников, а мы в свою очередь принимаем студентов от них.

Идея в том, чтоб желающие могли семестр на пятом курсе, или весь пятый курс, провести где-нибудь вне дома. С частью универов у нас, к тому же, есть договорённость о двойных дипломах. Скажем, можно 4 года проучиться в одном университете, потом полтора в другом и получить два мастерских диплома.

Ну, а кроме того, наши третьекурсники в обязательном порядке проводят три месяца за границей.

И вот человек тридцать из самых разных мест собрались у нас на три дня.

Сидели за столом, болтали по принципу – а у нас, а у вас. Представитель дружественного финского университета был небольшого роста и коричневого цвета – ну, типичный финн иранского происхождения – страстный финский патриот.

А из Малайзии приехал большой толстый розовомордый англичанин – десять лет в Куала-Лумпуре живёт и в ус не дует, очень ему в тропиках нравится. Причём, судя по всему, не плавать-нырять, а просто жить в жарком индийско-китайско-малайско-английском городе, выходить на душную влажную улицу, нырять под кондиционер в машину, плавать в бассейне.

Из Калифорнии прибыла моя старая знакомица – похожая на круглую матрёшку Лариса из Днепрпетровска.

Нарушая стройную картину, из Индии была тётенька с пятнышком на лбу, но из Швейцарии – француз. Из Англии старые знакомцы англичане – способные по известной английской привычке пить пиво за пивом, не останавливаясь, как *chain smokers* курят. И из Японии – тоже японец.

Что до нас – всё как обычно, на любом нашем собрании, – родившихся во Франции примерно половина. А прочие – бразилец, сириец, иранец, немец, американец, англичанка, алжирка, марокканец, китаец, я...

Всё же как естественен разноцветный и разномордый человеческий мир вокруг. До чего было б скучно смотреть, если б все были похожие – как если бы по улицам из собаковых гуляли бы одни овчарки или одни болонки.

Вечером мы с Кристиан повели гостей и часть наших сначала в довольно известный ресторанчик на бульварах – говорят, бывшая рабочая столовка – огромный зал с высоченным потолком, и наверху галерея, где мы и сидели. Хоть и вторник был, полно народу, официанты бегали в белых фартуках.

Очень вкусные улиточки, которых мы уговорили попробовать часть незнакомого с ними народу. Я с удивлением осознала, что в Японии улиток не едят – можно бы и догадаться – улитки-то не морские, а садовые.

Ну, а потом отправились мы в «Ловкого Кролика».

Когда-то под рояль исполнял там мужик отличную песню, построенную на словах, в которых присутствует *son* – таких по-французски пруд пруди, потому как и *son*, и *com* – произносится-то одинаково – так что все *combattant* – туда же. В общем, веселее и разнообразнее, чем «себя от холода страхуя, купил доху я на меху я, но с той дохой дал маху я»

Надо сказать, что маху дали мы с Кристиан, когда потащили людей к Кролику – он, как и всё на Монмартре, не в двух, а в трёх шагах от метро. И мы вместо того, чтоб подняться на фуникулёре, или хоть по главной лестнице рядом с ним, пошли вверх по боковому склону, благополучно забыв, что если поднимаешься сбоку, так

надо взбежать сначала по одной летнице, а потом в конце улицы ещё и по второй – мы-то вместе с одним из англичан и иранским финном помчались наверх, ревниво глядя на соседей, чтоб не уступить, а лучше и обогнать, но больше половины народу отстали по дороге, и преодоление лестниц оказалось просто приключением – что для Ларисы из Калифорнии, что для Лесли из Малайзии, а особенно для его жены, ухитрившейся отправиться на прогулку на высоких каблуках – она по дороге ещё и упала к нашему ужасу, но, к счастью, не повредилась.

В общем, прибрели. И я даже засняла поющую тётенку, хоть и не запомнила, как её зовут. Она была очень милая – такая клоунесса – рифмовалась с Джульеттой Мазиной.

Была первая тёплая ночь. Я вышла из «Кролика» на улицу позвонить, даже не накидывая куртки. И прекрасен был ночной Монмартр, когда в два часа мы спускались к Пигаль – никаких туристов, тихая без халтурных рисовальщиков place de Tertre.

Закрывались кафе, официанты гасили газовые обогреватели. Только внизу на бульваре народ, такси вереницей, велосипеды.

Тем временем весна – всерьёз – мои любимые вишнёвые вступают друг за другом. И вчера мы проезжали мимо магнолии с огромными бутонами.

2009-ый

Вечером я шла к метро по набережной – через ежегодное июльско-августовское развлечение – «Париж-пляж». Там, где обычно по правому берегу Сены у воды

несутся машины, на месяц ставят лежаки, души, столики, зонтики, музыка играет.

Наверно, туристы тоже там ходят, но их не видно, Париж-пляж – больше для своих, и не разъехавшиеся ещё на каникулы парижане бродят, сидят, танцуют, фотографируют – под пальмами в расставленных вдоль реки кадках.

Танцы – под музыку времён то ли моего детства, то ли и того раньше – что-то такое из фильма «Бал», где не произносят ни одного слова, а в танцульке, в зальчике – весь двадцатый век плывёт – люди уходят на войну, люди возвращаются, люди не возвращаются.

Не оторвать глаз от разношёрстных разновозрастных кружащихся пар – что-то от того давнего народного Парижа, в котором на площади пела Эдит Пиаф, – то ли выражение лиц, то ли музыка, то ли просто летний вечер...

Вроде бы одна огромная общая память, эхо, относящее то ли куда-то далеко в собственную жизнь, то ли во что-то неопределённое со старых фотографий, глядя на которые начинаешь ностальгировать по непрожитому, почти чужому...

Тёплым летним почти чёрно-белым вечером.

Нога за ногу, поворот, столик под платаном, мост, поворот, тут уже были сегодня, сад, фонтан, река. И под этими платанами-каштанами, облокотившись о папапет, глядя в воду, оборачиваясь на собак и велосипедистов, задирая голову к Нотр-Дам, наостряя уши на дальний аккордеон или на фонтан, возвращаются стародавние

каникулы, приезды из Америки, городские дни, – а с какой завистью я смотрела на всех этих жующих за уличными столиками и праздничноболтающих. И на что этот взрослый, пылящийся в передней велосипед? – теперь жуй сколько хочешь за уличным столиком...

А на улице, на площади, – белое пиво – лениво, медленно. Возле набережной мы сидели под совсем густыми катальпами, никакие зонтики не нужны, и Машке на плечо свалился зелёный и липкий катальповый плод – и не жёлудь мелкий – увесистый такой шарик.

У воды люди стелят скатерти, выпивают и закусывают, и на мосту Искусств, деревянном пешеходном, с которого стрелка острова Ситэ – нос корабля, и башни Нотр-Дам, и шпиль Сент-Шапель – мачты. И остров Ситэ плывёт к тебе.

На мосту Искусств американцы – из тех с пронзительными голосами – много тёток и два мужика – пообедали и фотографировались, прижимая к себе открытые бутылки – ну да, в Америке нельзя же выпивать на улице.

А на острове Сен-Луи на спуске к воде тётенька в шортах и футболке купала лабрадора. Лабрадор был на верёвке, и тётенька, всё дальше заходя в Сену, – вот уж по пояс – швыряла ему мячик, и лабрадор плыл за ним, натягивая верёвку. Машка задумчиво заметила, что теперь тётенька, наверно, отправится в ресторан. Набережная там выдаётся в реку углом, и за углом от лабрадора гулял с раздетым до пояса хозяином чёрный дворник. Он был без верёвки, но мячика не было, и дворнику приходилось плыть за посланными в реку хозяйской рукой воображаемыми палками.

А потом мы шли вниз вдоль воды и повстречали дяденьку с маленькой собачкой. Он сообщил нам, что

сидящие на воде утки, – они ещё утята, что они тут родились, что мама их не бросила, она тоже неподалёку, что это подростки, и что он, дяденька, следит за утятами от рождения, фотографирует их. В общем, за утят можно было не волноваться...

И так вот жуёт, плывёт, качается этот летний город, и солнце просвечивает насквозь бокалы с розовым вином и утопает в стаканах с пивом.

2008-ой

Я сегодня утром шла не торопясь – слушала шуршанье шагов по асфальту, внюхивалась в запах кофе из кафе, всматривалась в розы в чьём-то палисаднике – выстроились по ранжиру – вытянутые вверх неползучие розовые деревья – почему-то белые пониже, красные повыше, а розовые между ними, – шла и удивлялась линейности времени.

Почему мы не живём в разных слоях одновременно?

Я кричу своей жизни – «замри здесь и сейчас» – только вот ещё бы и помахать себе прежней – двадцатилетней, пятилетней...

А когда я возвращалась домой, и в трамвае раздавали гладиолусы – в честь праздника сбора винограда в городке Сюрен – мне достался белый.

С неба шлёпались редкие толстые тёплые мягкие капли – зонтиков никто не доставал.

Когда я только начинала жить в Париже, мы как-то в солнечное воскресенье гуляли в саду Пале-Рояля – по дорожкам мимо фонтанов и жёлто-красных клумб, и

люди на скамейках улыбались, стоило только поймать взгляд – мне тогда показалось, что воскресный Париж – залог того, что всё образуется, что жизнь прочна, что всё будет хорошо.

Вчера, когда я глядела на берег с кораблика, я опять остро ощутила по Борхесу, по «Тлёну,» эту обусловленность не хаоса – есть река, раз есть кому загорать у воды, и скамейки есть, на которые падают листья, – есть кому на них сидеть, и сидеть за столиками, над которыми уже зажгли на длинных палках газовые горелки, тоже есть кому. Дул ветер в нос, я пыталась запахнуть совсем тонкую летнюю куртку, ведь позавчера ещё было жарко в длинных штанах, – а мимо проплывали люди, собаки – белый пудель смотрел сверху на хозяина, растянувшегося у воды, положившего голову на колени хозяйке, обоим лет за шестьдесят, и спаниель совсем на другой набережной, натянув длинный красный поводок, бегал по самой нижней ступеньке спуска и полоскал уши в воде.

А сегодня ещё ледяней ветер, или просто утром холодней – и до весны ещё зима – и чур меня, чур – только не подгонять время!

2012-ый

Вечером я проходила мимо «Шекспира», перед ним на площадке шли какие-то англоязычные посиделки – тепло даже без газовых обогревалок – народ расселся на прислонённых к стене деревянных лавках, на стульях. Какая-то женщина говорила в микрофон, так

что её слышали проходящие мимо прохожие. Я видела её со спины, так что не знаю, вспоминала она, или читала текст – об умершем друге, о том, как он до самого конца – жил, общался, смеялся, думал. И про его вдову...

Не знаю, о ком шла речь. О только что умершем Джордже Уитмене? Я послушала минут пять и, торопясь домой, побежала дальше. Какая-то женщина стояла с сигаретой у открытого окна на втором этаже. Удивительно звучал этот очень личный интимный текст в вечернем городе, возле магазинчика, где на улицу выставлены скамейки и книжная полка, и качаются ненатянутые рождественские гирлянды – напротив праздничной Нотр Дам с крепко стоящими в небе башнями. По набережной тёт сплошной вечерний поток фар, под голыми сакурами шли по тротуару люди, – мимо припаркованных велосипедов, мимо кафе, где часто вечером рояль... А женщина рассказывала, как дома – друзьям... И это не было неуместно.

Вдруг вечером после работы решаю – проеду через город. До Жювьё на метро, поднимаюсь на эскалаторе, – там лестница тихо едет прямо в небо, и первое что видишь, – ветки катальп.

Париж – по сути – негромкий город. И вот сейчас, под Рождество, – горсти синих лампочек на голых ветках, а кое-где сияют под жёлтыми фонарями одинокие подрагивающие жёлтые листья. Да морковные носы снежных баб в витринах дятлами стучатся в стёкла – на улицу, на улицу, в нехолодный нежный декабрьский вечер.

Гирлянды шелестят на ветру. В аквариумах кафе – то сверкнёт неподвижная лысина над книжкой, то руки взлетают над столом, – разговор.

В «Шекспире» толчётся народ. Несмотря на «читалки» всех мастей, несмотря на «Амазон» – не один Синявский так любил запах старых книг – в «Шекспире» даже новые пахнут пылью, может, от того, что трутся боками о старые – не умещаются на полках, падают на пол. Леший Синявский с бородицей и глазами, глядящими – один на вас, другой на Арзамас. Его-то, выбиравшего из всех запахов – псину и старые книги, «читалка» бы не устроила. Книги с жёлтыми заплесневелыми отсырелыми пахучими страницами.

А над Нотр Дам висела круглая луна. Между башнями и шпилем. Картинкой из волшебной книжки. Из старинной, где глянцевые иллюстрации вставлены между страницами и проложены папиросной бумагой.

Я рассказала про эту луну Ваське, и он вспомнил, что среди святых на Нотр Дам – Фома неверный с лицом Виоле-лё-Дюка. Он смотрит не туда, куда другие святые, один из всех – на тот самый шпиль, который сам и приладил. И протыкает его шпиль небо – шпиль не хуже тех, что тычут в него уже 600 лет.

На верхотуре на холоду сидят на баллюстраде химеры. Одна оперлась на руку подбородком и глядит в даль. У неё папино лицо. И другая – с лицом васькиного лучшего друга – Жорки Бена...

Каменные живые лица задумчиво смотрят на город – эй, привет, – декабрьской лунной ранней ночью...

*Играют синие огни на лапах ёлок,
Большая площадь кое-как освещена,
Да в жёлтом блеске фонарей, на ветках голых
Случайных листьев уцелела желтизна –*

*Ещё колышатся над ёлочным, над синим,
Пока их слабый ветер с веток не сорвёт...
Луна приткнулась между башнями и шпилем...
Ну что, Нотр Дам, покажешь мне под Новый год?*

*Невыразительны апостольские лица:
Затенены – не разглядеть, и лишь одно –
Лицо неверного Фомы едва искрится:
Живой луной оно слегка освещено.*

*Ну да. Одиннадцать нисходят к нам по шпилью,
А он, Фома, он – архитектора портрет,
Лицом к луне штурмует шпиль, чтоб не забыли,
Кто восстанавливал собор десятки лет!*

*Воле Лё Дюк идёт по шпилью вверх, а ниже
Река, кафешки и толпа цветных огней...*

*На левой башне, над предпраздничным Парижем
Среди химер есть лица двух моих друзей...*

*Я им дарил тех двух химер когда-то в шутку –
Настольный гипсовый уменьшенный портрет!*

*... Декабрьский ветер в башнях вечную погудку
Всё повторяет, всё твердит: «их нет, их нет...»*

*А посреди химер, гаргуй и прочих статуй
(Кто, кстати, выдумал вот так пугать детей?)
Мудрец масонский, говорят, алхимик спрятан,
Химичит что-то химеричный книгочей...*

*А впрочем, ладно уж, пускай себе химичит,
Не знаю кем, да и зачем тут вклеен он,
Что и кому, и для чего он всё талдычит, –
Но и ему не разгадать секрет времён...*

22 декабря 2011

Апрель 2019-го

Вот живём мы, хоть всё-таки знаем, что помрём. Иногда удивительно – и как это мы живём с таким знанием. Вот Костя Левин, здоровый человек, счастливый семьянин, боялся ходить с ружьём, чтоб не застрелиться.

Но всё ж живём. Кто-то, вроде бы, начал завещание со слов «если я умру», но в целом, мы соглашаемся – помрём, куда денемся, все, жившие до нас, померли, – и мы туда же.

Живём, теряем близких, живём с тем, что пережить совершенно невозможно – а живём – с памятью – нашим бессмертием. Наша собственная память и общая – та, которую делим с другими.

Совершенно необходимо соотносить себя с вечностью. И у каждого с ней личные интимные отношения. А без вечности – совсем никуда и никак. В этой вечности пейзаж и культура – незывлемые основы мира. У каждого свои, и наши общие – тоже.

Нотр Дам – огромной силы притяжения общая точка, в которой мы с вечностью разговариваем.

Вот стоит она на острове – в Лютеции, посреди нынешнего Парижа, вот в Рождество перед ней ёлка, а в апреле сакуры и сирень расцветают.

И для меня лично – вот поднимаюсь я по лестнице со станции «Сен-Мишель-Нотр-Дам» – и первый взгляд вверх – на неё. Иду по набережной к Жавелю – оглядываюсь. И на мосту постоять-поглядеть... И зайти – если вне сезона, ноябрьским предвечером... А когда-то, когда туристское мельтешенье не захлестнуло ещё мир – вечером перед Рождеством, в полутьме, в свете витражей постоять-послушать орган.

До этих камней дотрагивались, в эту дверь входили – пространство объединяет нас – сто лет назад, восемьсот, или попросту двадцать – мы с Васькой заходили. А у Шарлеманя перед Нотр Дам, – очень хорошо встречаться – «значит, в пять у зелёного дяди?» – очень удобно. Шарлемань давным-давно позеленел, и лошадь тоже зелёная.

Нотр-Дам – меня утешает, когда разбегаются, как мыши, смыслы, – выйдешь из метро, или пешком пойдёшь, взглянешь вверх, попытаешься снизу взглядеться в химер, кивнёшь той, что на углу в вышине, и мир выстраивается из кирпичиков, и слышишь шаги...

Пробковые дубы на холмах над Средиземным морем, голубое марево над песком бесконечного бретонского пляжа, вереск, сосны, небо над рекой, Нотр Дам, Ван-Гоговский сеятель шагает, огромные глаза паровоза у Моне, мостик над прудом...

Я пару лет назад прочитала письмо Шопена, где он мучается угрызениями совести, что из-за болезни не

принял участия в польском восстании, и подумала – ну, вот а если б принял, а если б погиб? Ну, как представить мир без первого концерта, без этюдов...

И такое множество написанных слов – рукописи не горят – с ними проще...

Одно лето на шестёрке, дороге, ведущей из Парижа на юг, по которой на каникулы едут к Средиземному морю, едут в горы, висели плакаты: «Не торопись, море не испарится!». И это было так жизнеутверждающе!

Совершенно необходимо быть уверенным, что море не испарится! Иначе как?

2008-ой

Дополнительная утренняя радость – я теперь вхожу в кампус через заднюю запертую калитку, которую отпираю ключом. Напротив калитки с другой стороны тупика, там и машины-то не ездят, живёт старичок с фокстерьером в доме с крошечным садом, в котором умещается одна магнолия, одна японская красным цветущая айва и один розовым цветущий персик, а на задворках кампуса доцветает форзиция, одуванчики в траве, и железная калитка скрипит.

Неделю назад я поехала домой через город – доехала до Жювьё и увидела напротив метро мою любимую тётеньку, у которой, на мой взгляд, лучшие блины в Париже. Во всяком случае, из тех, что на улице.

Ленивые уличные торговцы обычно напекут гору, а потом только разогревают, а эта тётенька честно плюхает тесто на плоскую сковородку, через минуту переворачивает широким ножом, подсунув под блин кусочек

масла, плюхает яйцо, тёртый сыр (я всегда у неё ем блин с яйцом и сыром), спрашивает, положить ли соли-перца, и перца не жалеет.

Круглолицая тётенька с весёлыми чёрными глазами. Когда я бывала в Жюсьё практически каждый день, а потом два раза в неделю, я постоянно ела у неё блины. Естественно, в ланчевое время скапливалась очередь, рядом, у других блинопёков, у тех, которые с подогревом, никого не было, а у моей тётеньки приходилось минут пятнадцать дожидаться своего вожделенного горячего блина. Приходили с приятелями, в очереди трепались, тётенька, пока блины жарились, болтала – чаще всего про своего сына, куда он летом едет, что у него в школе.

Я не видела эту тётеньку лет восемь, не попадаю я в Жюсьё в обеденное время, обычно приезжаю вечером, когда её уже нету, и будочка закрыта.

А тут и я поехала в город довольно рано, оказалась у Жюсьё до шести, и она, наверно, припозднилась. Очереди не было – неедное время, только стояла старушка, облокотившись о будочку. И болтали они о тётенькином сыне, о том, куда он поедет на лето, о его успехах в волейболе. Может быть, это, конечно, другой сын. А может быть, всё то время, что я её не видела, она проспала, и её только недавно поцеловал принц. Кто ж знает? По крайней мере, тётенька не изменилась совсем, выглядела она лет на сорок, и выглядит. И блин не изменился – обжигающий и проперченный. Мы друг другу очень обрадовались, заулыбались, закивали.

И я пошла, наслаждаясь блином, к Нотр Дам.

Там время тоже стояло на месте, – катались ребята на роликах, играли дети в песочек, глазели туристы, расцветала сирень и цвели сакуры.

У одного моста саксофонист играл «Les feuilles mortes», у другого – «Summer time». И я поняла, почему, хотя в Париже туристов, говорят, больше, чем в Риме, в Париже они не очень мешают, иногда даже веселят, а Рим от них задыхается. Дело просто в том, что около Нотр Дам есть качели и песочницы, и скамейки, и жестяные банки для роликового слалома на мосту, а около фонтана Треви только торговцы кока-колой и пиццей.

В саду на Авентино скамейки и коты, и падают апельсины на землю, и мамы с колясками, и пусть себе бродят туристы, никому они не мешают. И на лужайке с олеандрами около храма Весты едят бутерброды римляне, и на Isola Tibertina загорают и к экзаменам готовятся. Но вот на форуме, на Навоне, у Пантеона, у фонтана Треви – там нет римлян, их оттуда выжили, по крайней мере, в туристский сезон. И, честное слово, надо на Навоне сделать песочницу и какую-нибудь детскую горку, – и будет жизнь. Только у фонтана Треви на маленькой-маленькой площади ничего ведь не поместится... А вот у подножья piazza di Spagna вполне можно...

У людей летние лица. И цветенье, о цветенье – махровые сакуры, сирень, золотые тополя – не лимонным осенним золотом, – весенним медным.

Зенит весны, короткий, уязвимый, горло сжимается...

Заблудилась на набережной бабочка-лимонница...

«Тут-то и вспомнишь всех отшумевших...»

Бывают дни, когда удивительным образом сходится время с пространством и возникает глупое чувство бессмысленной радости, не буйной, а покойной – ленивое ощущение правильности твоего нахождения в данной точке в данный момент.

2016-ый

Лето обычно в конце концов настаёт. Когда и утром жарковато, и бледное в жару парижское небо...

Впервые я сегодня заметила, что под липами шуршит летним ветреным шуршем золотистый выцветший ковёр опавших цветов, топишь в нём ногу...

А в лесу вечером зелёные цветущие каштаны в солнечных пятнах на стволах.

И радостная толпа в Париже, и глядя на ребят за соседним столиком, попивая белое пиво с лимоном, видишь себя ровесницей им, а не дядям-тётям за столом подальше, посмеиваясь, что и дяди-тёти тоже видят себя с ними, а не с тобой...

А потом проходит мужик с седым хвостиком, держась за руки с пегой женщиной в коротких красных штанах – и за ними взглядом бредёшь...

А в тёмном ночном коридоре переступишь аккуратно через чёрную собаку.

А Васька ухмыляется клоунской улыбкой с фотографии на стенке – с каменных ступенек у римского Пантеона...

Летом ведь нормально, что когда я от автобуса бреду, не горит наше окно, за которым виднеются книжные полки... Летом светло...

Чёрно-лиловым утром автобус упорно бодал дождевую душную стену, с видимым усилием прогрызал в ней туннель...

А вечером я шла от от Триумфальной арки к Трокадеро, потом к Эйфелевой башне, – редкие капли остывали на ветру, цвели липы, фары светлыми цветами отражались в асфальте, карусельные лошадки раздували хвосты. Шла-шла-шла... Мимо воинственного фонтана, где стреляют водой пулемёты, глядела сверху на золотую голову Инвалидов, на барашки на реке. Мимо овощных прилавков с тёмной черешней, мимо стаканов, шипящих пивной пеной, шла, раздвигая этот город, трогая парапеты, – всё это – фары, пивная пена, золотая голова Инвалидов, фонтаны-пулемёты, лужи, лошадки, зонтики, велосипеды – весь этот прожитый Васькой город, – который он рифмовал в русском стихе...

*Французского стиха старинный шестистопник
Зачем-то вдруг меня запряг в своё ландо
И гонит, не поняв, что старый русский гопник
Мог спутать фа-диез с тяжёлым нижним до.*

*По-разному звучат все эха, память, стены...
На странные куски весь город раскрошив:
Вот чашка и бокал, вот руль – но всё мгновенно –
За стёклами кафе, за окнами машин.*

*То выторчит кабак, то пробегут витражи,
То бронзовый большой зелёный зад коня,
А кто мимо кого плывёт – неважно даже, –
Я торможу, или
бульвар, в виду меня?*

*Вон бронзовый Бальзак с внимательной усмешкой
Следит за сотнями прилавков и витрин.
Ну что ж, месё Бальзак, ты продолжай,
не мешкай,
Их множество вокруг, а ты ведь тут – один!*

*Машинам миновать насмешливого взгляда
Не разрешит Бальзак! Король бульвара – он,
И это неспроста: ему ведь было надо
Договориться с не-надёжностью времён!*

*Чем медленней идёшь, тем торопливей время,
Вот ты спешил, бежал, чтобы ползло оно...
А чуть замешкайся – оно танцует с теми,
Кому шестнадцать лет: ему ведь всё равно!*

*Оно прикинется то веком, то моментом,
То стянется в клубок – само себе назло...
Ну а пока – стучит по всем бордовым тентам
Назойливым дождём, чуть замутив стекло,*

*Мы смотрим из машин – оно остановилось,
Топочет в тротуар, или бурчит «Спеши»,
Стоишь на улице – оно (скажи на милость!)
Уже за стёклами мелькающих машин!*

*Кто за рулём один – тот в самом деле едет
Вдвоём: ведь позади незримый пассажир,
Он долговечнее гранита или меди.
Ты видел взгляд его?
Ну что ж – перескажи!*

*Поток машин плывёт, ритмично обтекая
Недвижные дома, ограду Тюильри...
Что ж, всё текучее – судьба его такая –
Прочнее каменного, что ни говори!*

2012 г.

Утром возле Нотр Дам на зелёных ещё прихлопнутых крышках ящичков букинистов тополиный пух клочьями, и над набережной он летит. Железные слегка ржавые ящики, осенью я фотографировала на них жёлтые листья, – огромные, а за ними маленький шпиль Нотр Дам. За уличными столиками праздный народ завтракает, – намазывают жёлтое полупрозрачное абрикосовое варенье на куски багета с маслом – глядишь, и сразу есть хочется.

Почти как когда-то, когда денег вовсе не было, а я целыми каникулярными днями бродила по Парижу, приехав из нелюбимой Америки, и вечером заглядывалась на столики, на людей, на клочки чужой жизни, будто вдруг приоткрывается чужое письмо – обрывком без лада и склада, а может, шевелятся губы, да слов не услышать.

Тополиный пух каждый год ловлю в руку – потом сдуваю, отпускаю, как когда-то в Переделкино Чуков-

ский заставил меня выпустить в небо летучие воздушные шарик, которых в Питере не продавали.

«В этой маленькой корзинке есть помада и духи, лента, кружево, ботинки, что угодно для души».

Тополиный пух, жестяной бидончик, лиловые астры – из чего только сделаны девочки, и мальчики тоже.

Задувает занавеску в открытое над «Шекспиром» окно.

Как каждое утро – капустные головы в сетке у входа во вьетнамскую лавку – Васька их не хотел в стихи – считал, что Гумилёв капустные головы застолбил – «вместо капусты и вместо брюквы мёртвые головы продают» – да, к тому ж в своём по сути единственном хорошем стихотворении.

Но мне эти весёлые зелёные головы у лавки вовсе не кажутся мёртвыми – жизнерадостные такие головы, хоть и в сетке.

Васька ужасно боялся в стихах повторяться, но при всей несимпатии к Георгию Адамовичу и как к поэту, и как к человеку, приходится признать, что он прав, что в поэзии действительно немного тем, да и в жизни тоже, – и в общем-то получается – о времени, о памяти, о месте, об отношениях места и времени...

Кстати, как же выцветает любовная лирика в узком смысле этого слова. А в широком – почти вся лирика – любовная – если не любишь, чего огород городить?

Ну, бывают, конечно, стихи и от ненависти – но если она не уравновешена любовью – получается ерунда.

О смерти – ну, это пусть Дилан Томас.

В каком-то смысле смерти нет... А в том, в котором есть, – она – огромное заполняющее мир отсутствие, – и слова – попытка его заполнить, услышать ответ.

Да, так капустные головы – не могут же с зимы лежать смирно на тротуаре одни и те же головы. Они точно сменились. Но как же неотличимы от прошлых голов. Трутся друг о друга в сетке, и всё ж не совсем одинаковые, когда рядом.

У Нотр Дам над рекой, на растресканном парапете,
Запертые грязно-зелёные ящики букинистов.
И не смахнёт незаметный, слабеющий утренний ветер
С крышки облезлой, с краски пожухлой, бугристой –
Несколько жёлтых разлапых платановых листьев...

Это – последние,
Каждый велик непомерно.
Даже чуть страшно:
В сравнении с ними почти незаметны
Там, над собором, далёкие мелкие башни,
И неразличимы на башнях химеры,
Будто они затерялись меж листьев опавших
Где-то под дачными заколоченными воротами,
Запертыми, как книжные ящики перед мостами...

На зиму серыми досками заколочены дачи...
В них – тоже книги на полках оставлены...

Только вот к ящикам утром придут букинисты,
Старые книги расставят по полочкам ящичков старых.

Тут же появятся стулья, или скамеечки низкие,
На серых растрескавшихся тротуарах...
Но не исчезнут ни бледные тени химер,
Ни разноцветные листья...

К лету пробьются на светлых деревьях новые листья...

Снимут ли доски с заколоченной дачи?

Кто знает:

Не букинист, не ветер, не ключник

Её отпирает...

9 декабря 2012

2016-ый

В плывущую жару мы шли с Машкой по набережной. Зацепляя ногой за ногу, потому что быстрее двигаться было жарко.

Кругом клокотала парижская воскресная радость – велосипеды, ролики, коляски, самокаты – после наводнения набережную привели в прежний вид – и турники на месте, и мои любимые завалинки из старых шпал... Плавучий садик на барже гигантской – с огромными гамаками на двоих – все они были заняты, да мы б и не плюхнулись в гамак под солнцем. А ещё французские и португальские флаги – у кого-то на плечах, у кого-то пляжной подстилкой на асфальте, а иногда пара идёт – и оба флага несут – футбол!

Мы добрали до моста Александра Третьего и плюхнулись за столик – но без пива, – в эту жару мы решили,

что если пива выпьем, то попросту растечёмся по стульям и домой не доедем...

Сидели-сидели – на золотые трубы, вздёрнутые в небо в руках у ангелов по краям моста глядели, – тут взгляд мой пал на прямо перед носом пришвартованную баржу-поплавок, и я заметила, что там люди выпивают прямо над водой на палубе, при этом в тени. Мы, конечно ж туда переместились и столик очень удачный нашли. Запыхавшиеся юные официанты – очевидные студенты, – вот и наши студенты сейчас трудятся... Сидели-глядели...

Как там Планше с моста в воду плевал, за что и получил завидную должность д'Артаньянского слуги?

Мы, правда, не плевали – только глазели – на удивительных рыбок – двух видов – те, что побольше,плыли поглубже и у самого ушедшего в воду баржевого борта, а те что поменьше, к поверхности поближе – совсем маленькие рыбёшки – и плыли они против течения – уж они старались, выгребали, а двигались еле-еле. И зачем им против теченья, куда? К тому роднику в Бургундии, где большая статуя – исток Сены, куда пИсал Димка, который обязательно писает в исток речки, если такой ему попадается на пути.

Рыбки сверкали боками, усердствовали, а бар-поплавок наш покачивался от волн, поднятых батобу-сами – речными трамвайчиками – и прочими плав-средствами, – вот огромная баржа по имени «Титаник» проплыла, а за ней кораблик «Катрин Денёв»...

Мы сидели на какой-то дощатой хрени – не на скамейке – на чём-то длинном деревянном, а хочется сказать, что на завалинке, пили пиво, – в соседнем киоске

взяли – евро залог за стаканчик, а то б конечно, растаскали стаканы.

В медовом вечернем свете... Глядели на лица – люди улыбались иногда друг другу, а иногда просто улыбка чеширского кота – едет человек на велосипеде и улыбается, проезжает мимо, улыбка остаётся. Люди обнимались, встречались, раскладывали скатёрки на асфальте, разливали вино. Читали книжки и болтали ногами над водой.

Не тесная толпа – а люди, делящие общее пространство, – город.

*Париж не бывает без парижан.
Петербург, или Рим
Можно увидеть торжественно пустыми,
Неважно, асфальт на площадях,
Или они заросли травой...*

*Есть ещё древние города,
Что на ночь даже меняют имя,
Но Париж и на миг не станет Лютецией,
Хоть волком вой!*

*Может он – населённой других, –
Без людей и минуты не обойдётся?
Да что там! – Не обойтись ему без сорок
и собак...*

*Даже питерские сады можно вырезать из города
И рассматривать отдельно,
Как в телескопе, или в глубине колодца,*

*А здесь – ничто и ни от чего не оторвётся никак!
Многие города хочется увидеть пустыми,
Ну, хоть для разнообразия,
А с Парижем этого не случается никогда.
Потому что канун праздника всегда важней
самого праздника:
За столиками тут сидят на улицах хоть в жару,
хоть в холода.*

*Все – зрители. Все и всегда ожидают
Уличного внезапного действия. Недаром
Спектакль без начал, без концов идёт и идёт...
Смена картин бесконечна –
По проезжей, или по тротуарам
Хоть клошар, хоть ролс-ройс,
Хоть целующаяся пара,
Хоть букинист, или цирковой ослик –
Кто-нибудь да пройдёт!*

*Вот и Карл Великий верхом. Два рыцаря пеших
рядом -
Оливье с секирой и Роланд с мечом по имени
Дюрандаль...
Весенние, ещё медные, тополя кажутся
вечным садом,
А минутность бумажных корабликов
Сена уносит вдаль...*

*Кто-то встаёт, кто-то садится...
Столики не пустуют,
С каждым мигом сменяют зрителей
и набережная, и бульвар.*

*И беспрестанным припевом стучаются
о мостовую
Эхом у каждого кафе: «Бонсуар», «Бонсуар»...*

*Да, если постараться, можно увидеть пустыми,
Величественными силуэтами многие города,
Даже такие, которые втайне на ночь
сменяют имя,
Только с Парижем этого не случается никогда.*

2017-ый

Мы сидели с Машкой – так было дико, невозможно, что нет Васьки, нет Яшки, и мы тут на набережной в нашей проходящей жизни, и десять лет назад – вчера, и позавчера сирень на Марсовом поле – нос впереди, хвост позади – огромный тяжёлый драконий хвост, а может, и лисий – следы заметить...

2010-ый

Вчера была гроза – молнии росчерками через всё небо, ливень. Гроза, одним словом – осенняя гроза. Мы в сумерках, быстро превращавшихся в тьму, с мокрыми ногами и в мокрых куртках тихо ехали в потоке, глядя на молнии, которые перечёркивали ветровое стекло, и считая секунды до грома.

Удивительно одинокое дело ехать в осеннем вечернем потоке, глядеть на встречные фары – хрупкие, зам-

кнутые тонкими стенками, пространства машин – до соседа не докричишься. Почему-то молнии разрушали эту вечернюю меланхолию, и встречные фары казались менее безразличными.

Я заказала себе грозу на Новый год – хорошую январскую грозу с молниями и громом.

А до того, днём, я ездила выдавать дипломы нашим выпускникам. Как всегда, действо торжественное – с участием бывших выпускников, с песнями и плясками. Пели и плясали студенты, показывали скетчи, ходили на голове, всячески демонстрируя, что если вдруг информатики никому станут не нужны, они смогут и в цирк податься.

Пляски были замечательные – в отличие от многих видов современного искусства, где число разнообразных умений резко сократилось и в значительной степени заменилось умением себя продать, в танцах оно явно возросло – куда там мазурке до прыжков с переворотом, приземлением на одно ухо с последующим верчением на нём. Кайф!

А ещё в этом году вместо того, чтоб, как водится, устроить действо в привычном нам зале Mutualité на Левом берегу, наши ответственные за празднество сняли зал в Берси, – в моём представлении в грязном районе за Лионским вокзалом. Я внутренне слегка ворчала и оказалось решительно неправа.

Бывшие склады превратили в кафе и магазинчики, построили очень славные невысокие современные дома, получилась уютная пешеходная зона, люди на улице сидели под газовыми горелками. Как-то резко бросилась в глаза разница между европейским и азиатско-американским новым строительством. Я вспомнила эти жут-

кие башни в Куала-Лумпуре – подоблачное стекло – а в Европе часто встраиваются в старое, – что-то такое не слишком большое, обозримое возникает, тёплое – впрочем, можно, конечно, глядя с другой стороны, сказать, что в Азии новая архитектура, а в Европе – аккуратные попытки не изгадить того, что есть. Так или иначе, мне захотелось побродить по Берси, выпить пива под арками – городок в табакерке.

А потом я добрела до нужного дома – и раскрыла рот, только, увы, – аппарат я забыла.

Дипломы мы выдавали в *musée des arts forains* – в музее ярмарочных искусств. Сначала подворотня, а в ней карусельные лошадки, потом длиннющий двор, с липами и каштанами, с которых свисали люстры времён пре-красной эпохи. И старая трамвайная колея в траве. Там когда-то были винные склады, где хранилось всё привезённое в Париж вино, поэтому и рельсы, и длинные здания, похожие на конюшни – в них хранились бочки.

Позолоченные фигуры, танцовщицы, оловянные солдатики.

И внутри, в зале над сценой – ярмарочная королева, очень похожая на те фигуры святых, которые и сейчас проносят по улицам в Испании на Пасху.

Она смотрела куда-то в потолок бессмысленными глазами, на голове её сияла блестящая корона. Что-то в этом было от Тулуз-Лотрека, что-то страшноватое от немецкого экспрессионизма – корона, бессмысленный взгляд, карусельные лошадки – а что-то невыносимо привлекательное – от ёлки, несъедобных на ней шоколадных конфет, от захламленных тесных комнат... Наслаиваются друг на друга миры даже в одной жизни – Мальвина, Карабас-Барабас, пудель Артамон, золотой

ключик, страшная ярмарочная королева, тоска по тому, что было, по тому, чего не будет, звон серебряных колокольчиков, тёплое дыхание коровы – «за веткой черёмухи в чёрной рессорной карете», – «театрального капора пеной»...

2017-ый

Сегодня утром, допивая кофе, я как всегда посмотрела на телефоне, когда мой автобус, и увидев, что на тот, до которого 3 минуты, я не успеваю, а до следующего целых двадцать, подумала – вот и отличный повод поехать на работу иначе, на RER, – через город – выскочить на Сен-Мишеле, глянуть на Нотр Дам, – первым взглядом из неглубокого подземелья, с лесенки наверх – парижское метро ведь – лесенки, лестницы, – Васька всегда жаловался. Нет, эскалаторы бывают, конечно, но очень не всюду. А на нашей станции и вовсе иногда по неизвестным причинам месяцами эскалатор не работает – наверно, для улучшения здоровья и тренированности населения – чтоб каждый день по лесенкам бегали.

Я ехала в поезде, слушала совершенно неизвестного мне французского современного саксофониста Гийома Перре, который мне неожиданно понравился. По радио он играл композицию, вроде как посвящённую истории джаза, – начиналась она с таких очевидных тридцатых годов. Он выступает всегда один, играет на саксофоне и использует педали, позволяющие управляться ещё и с ударными.

В окно глядела, не доставая из рюкзака планшета, на котором читаю, заканчиваю уже, «Ворошиловград».

За окном ни шатко, ни валко, – серенькая невнятная кисея. Я лениво подумала, что перейду набережную – и в садик возле St Julien le Pauvre, – ещё раз обернусь на Нотр Дам, а потом проверю, распустились ли уже нарциссы.

Поезд шёл вдоль Сены, мы подъезжали к Марсову полю, и в окне стеклянные дома Front de Seine неподалёку от Эйфелевой башни.

Мимо этих стеклянных домов, построенных в восьмидесятые, очень забавно ехать – там конторы, и за стеклом видишь людей за компами, иногда поздно вечером светится пара окон на здание, а за ними сидят-корпят.

Один из этих домов очень округлый, нет в нём прямых углов, и на высоком этаже за округлым стеклом, глядящим на реку, сегодня горела какая-то лампа под стеклянным абажуром, и казалось, это маяк, – чайки над рекой, баржи по рыжей воде проплывают.

Васька где-то читал, что по ночам корабли, шедшие по широченной возле Руана Сене, ориентировались на лампу в окне господина Флобера – он по ночам писал свои романы. Правда ли, нет, – наверно, можно узнать, да неважно.

А среди дня через стекло – вдруг густое небо упругой синевы, зелёно-золотые разреженные тополиные кроны, и не смахнуть несуществующих слёз.

Стылая осень – предзимье, но дрожат ещё, уцепившись за ветки, листья – ржавое железо с прозеленью.

Париж почти ещё и не рождественский, – развешены кое-где украшалки на проводах, да не горят ещё, и открылся на Елисейских полях рождественский базар.

Затаился, – ночной комнатой в детском саду, где валяется серебряная бумага, ножницы, – утром приходят люди – чего-то вешают, малюют морковчатые носы у снежных баб на витринных стёклах. Месяц ещё до Рождества – месяц укорачивающихся дней.

НА ПЛОЩАДИ КОНТРЭСКАРП

*Давно – ноябрь. Но тут перед кафе
Всё столики торчат на тротуаре
И газовых зонтов-обогревалок
Не ставят пряткие официанты...
Сидим как летом...Только неохота
Пить пиво – даже «гиннеса» не надо!
Вон рядом подогретый «лёвенбрау»
Цедит компания весёлых немцев
(все – по произношенью – из Берлина).
А мы пьём кофе... Значит, всё ж зима
Исподтишка приблизилась к Парижу...
Хоть ирисы на площади цветут,
И даже сумасшедший рододендрон
Расцвёл с чего-то на смурном газоне...*

*Из-за окна напротив – чья-то кошка
На нас глядит... Не на часы в кафе –
На нас!
А впрочем, что ей торопиться?
Ведь вот законсервировалась осень,
И значит, март уж точно далеко.*

*Ведь даже листья эти под ногами
Болтают с теми, что ещё в ветвях.
И в шёпоте качаются ритмично.
Как маятники... Только Время с места
Не сдвинуть им...*

*А кошка наблюдает:
Навес кафе – как падуга над сценой,
Ей представляется, что мы – актёры,
А то, что зрители одновременно,
Ей невдомёк...*

*Вот так и наша кошка
В узорном пригородном ноябре:
Пусть вместо человеческих комедий,
Когда-то там Бальзаком сочинённых,
Ей достаются мультики сорочьи,
Зато – все время смена декораций:
То дождь косой, то пёстрый шум листвы...*

*А этой – полосатой и пушистой –
Тем более тут есть над чем подумать:
Ведь целый день сменяются актёры,
Хоть декорация одна и та же,
Но в экспрессионистских зеркалах
Дробясь...
А из-за стойки, в глубине,
Где моят чашки, – даже джаз какой-то...
Он тоже иногда умеет «МЯУ»...*

26 ноября 2011

Посмотрела в старые записи – на тогдашний тёплый золотой ноябрь... Опознала на одной из фоток тянущуюся к дымовику Юлькину руку. Вспомнила, глядя на фотки из любимого кафе с пианистом, как было там тёмным октябрьским вечером жарко, как мы с Юлькой стягивали свитера...

А сейчас заматываю шарф... И сидели мы с Машкой на Контрэскарпе, и газовые обогревалки к месту были, и пили горячее вино с корицей, – ну, не пиво ж пить по холодам...

А на площади в студёный пятничный вечер шла бурная жизнь – приходили люди, как водится, недоодетые, в кедах, к примеру – кто бы мог подумать, что братья кедров, которые мы носили в детстве в лесу, или на уроках физкультуры, будут радостно топтать парижские улицы... Эти прихожие на площадь люди носы грели в шарфах, звонили по мобильникам – «эй, я тут, а ты где, жду на Контрэскарпе», перетоптывались, обнимались-целовались с подошедшими, будто не виделись сто лет – по двое, компаниями, – вприпрыжку и вприбежку уходили с площади, появлялись новые – мальчики, девочки, тёти-дяди – девица а миниюбке и ушанке промелькнула, двое девчонок лет двенадцати и лет восьми – той, что двенадцать, небось велели присматривать за сестрой, и присмотренная сестра, качаясь, шла по цепи, висящей между столбиками, обозначающими границу отмеченного несколькими катальпами условного сквера.

Парочка целовалась возле этих столбиков с цепями, среди площади, – некуда небось, пойти ребятам, а может, и есть куда, – в конце концов, кому не случилось

целоваться на продутых улицах, или в лифте по дороге в собственную квартиру...

А одна компания попивала пиво, устроившись на цепях, – сначала два мальчика, дальше девочка к ним пришла, а потом смотрим – их уже пятеро – греют носы в ковшиках из ладоней, но холодное пиво бодрыми глотками пьют.

А потом и мы ушли – переулками, где меньше ветра... Неизменным Парижем-утешителем, в обнимку с памятью...

2016-ый

Парусник у Жюсьё всё стоит на тротуаре возле института арабского мира. Надеюсь, что он прижился, а не просто приплыл на выставку, посвящённую Синдбаду-Мореходу, которая там сейчас проходит. Надеюсь, что паруснику среди прохожих не слишком скучно.

Электричество у нас всю экономит правильная экологическая мэрия, и свет на улицах – вот, как в комнате, освещённой ёлочными гирляндами, – полумрак, – не считаешь книжку на парижской вечерней улице, – и окна сияют – у меня вот Сашкиными стараниями на ёлке висит финская гирлянда – светят окнами домики. Альбир, правда, их обидел – сказал, что домики похожи на дачные сортиры, но был вынужден со мной согласиться – у сортиров не бывает двускатных крыш.

Живое тёплое существо город – дышит, ворочается, – Вольтер улыбается, защищённый от ветра стеной дома, качает золочёной туфлей Монтень, и одна туфля особенно блестит – студенты Монтеня за ногу хватают, за туфлю, – говорят «привет, Монтень», и это приносит удачу. Бронзовый носорог возле Орсэ родственник зачем-то стоящему на газоне в подпарижском городке Бур-ля-Рене танку. Бронзовый слон поднял хобот, а лошади – и бронзовые, и мраморные почему-то почти все подымают хвосты, собираясь навалить кучу.

И сороки-собаки-люди-коты и попугаи – кого только нет – друг друга видим, трёмся плечами, встречаемся взглядами, улыбаемся, – и не видим, обнимаемся посреди улицы.

А ещё тополя, – на некоторых даже листья особо отважные, зимние, подрагивают. Холодная трава. И крокусы сегодня решили, что пора выстрелить из-под земли.

*У музея Орсэ чугунные звери
Бродят туда-сюда,
Бронзовый зелёный львище
У метро Данфер застыл на страже,
И удваивая, медленно уносит вода
Куда-то на запад, в море,
Городские пейзажи.
Город не встретится в строчки о нём никогда,
Да и статуи этих строчек о них
не заметят даже...*

сидят, выскакивая в кафе на уголок и ненадолго прошвырнуться.

Всюду предлагают сбивающее с ног горячее вино – когда-то в Ленинграде мы называли это варево с лимоном и корицей глинтвейном, и однажды незадолго до отъезда у нас произошло алхимическое чудо. Бутылка венгерского сухого красного, которым мы пробавлялись в конце семидесятых – их было два вида этих венгерских красных – «Немеш кадар» и «Немеш кадарка» – какого-то из них – оказалась прокисшей, и мы решили сварить глинтвейн. Вылили в кастрюлю, поставили на огонь, добавили, что положено, – сыпанули гвоздику, корицу – и от кастрюли вместе с паром стал подыматься ни с чем не сравнимый запах тухлых яиц – чистейшего сероводорода.

На рождественских базарах в огромных сковородках жарено – сосиски, картошка, капуста. Блины, бутерброды, претцели. Запахи мешаются в холодном туманном висящем неподвижно зимнем воздухе.

Позванивают серебристые шары над вывеской кафе, в блинной девочка-официантка почему-то в коротеньком платье, одно плечо голое – впрочем, наряд стимулирует скорость – носится туда-сюда.

В Марэ, у евреев, куда мы отправились за хреном к Васькиного производства заливной рыбе, сербкиня говорит с нами на вполне приличном русском – выучила в школе, и кроме хрена со свёклой (так его делала моя бабушка), мы прикупили солёных огурцов из бочки.

И подарком случайно найденная улочка за Лионским вокзалом – маленькие домики, садики-огородики, лопух, – в домиках живут в городе деревенской жизнью, бельё по-итальянски сушат на балконах, а в некоторых

домишках мелкие типографии, контора по дублированию фильмов – кажется, каждое из заведений за окном с вывеской помещается в одной комнате.

На нашем раскисшем после арктических льдов газоне рядом с мелкими маргаритками я видела сегодня заляпанный глиной одуванчиковый бутон.

Зима по моему заказу – когда воздух пахнет смесью сухих листьев и чего-то зелёного, которое вот уже совсем готово распусться, когда расстёгиваешь куртку, и слабый ветер задувает в свитер, когда щуришься от солнца, когда народ сидит за столиками на улицах, и даже газовые обогреватели, похожие на огромные железные торшеры, совершенно не нужны.

За каждым прохожим идёшь – а некоторые и дважды мимо проходят – особенно те, что с собаками. Поспешаешь за перекинувшим через плечо длинный белый шарф высоким черноволосым, несущим одну розу, и за тем, что пробежал из булочной с торчащими из рюкзака пятью багетами. И за пожилым джентльменом, только что попивавшим вино с приятелем, и вот уже он встал и пошёл куда-то в вечер. И за таксой при другом пожилым джентльмене, – его неожиданно окликнул слегка циркового вида человек с велосипедом, взятым под уздцы. «Добрый вечер, вы меня не узнаете?» – в двух шагах от нашего столика. Конечно же, узнал старого знакомого грустный джентльмен, которого жена послала за хлебом и заодно с таксой выйти. Болтают, а таксе на поводке

скучно, – нет бы обнюхать все дырки и столбики, или уж домой – чай пить с хозяйкой, и крошки с пола всегда перепадут, да и булочки, авось, таксе не пожалеют.

Или побежать за котом, соскочившим с невысокого каменного забора возле кампуса, – кот торопится, – может, на свидание, а может, ко мне на лекцию заглянет.

Сунуть нос в неукрашенную пахнущую из всех сил ёлку возле станции – молодцы-ребята, что сразу не украшают – преддверье, предощущение, предпраздник, преджизнь...

Ранний Кушнер – шестидесятых годов другого века:

*«...Я с лёгкостью смотрю
На снимок давних лет.
«Вот кресло, – говорю, –
Меня в нём только нет».
Но с ужасом гляжу
За чёрный тот предел,
Где кресло нахожу,
В котором я сидел.»*

Собака Таня туда складывает свои мячики и прочее имущество, в это кресло.

Васьки нет – давно? вчера? – и всё равно в этой жизни после жизни, где пятилепестковую сирень надо жевать не за себя, где страшные рожи спрятались за всеми углами и шепчут скрипуче – а через десять лет, а через двадцать, – и сплошные сквозняки и дыры, – всё равно перед Рождеством, на бегу через город, мимо ёлок, глядя

на юные морды ровесников за столиками кафе – бокалы светятся разными цветами, – взглядывая на лампочки, – всё равно, старая дура, затаиваю дыханье, сжимается горло, – всё равно... Ну что тут попишешь.

Папин отчим говорил: «курицу надо есть вдвоём: я и курица». Вот и с городом мне очень важно – так. Когда не болтаешь, а настраиваешь уши антеннами, носом производишь, – глядишь на деревья, на людей за столиками, на закат в окнах, видишь, как светится пиво в кружках, вино в бокалах – бредёшь, дышишь...

Сейчас и всегда

Опять я иду через мост к сверкающей соломенной башне.

«Вот – говорю Ваське – как всегда туристы, – нет, не густая толпа, не время, – так, кой-какой народ, – на фоне Пушкина – мелькнёт чужой экран мобильного – кто-то-там, и башня за ним.

Я иду быстро – к метро за рекой, и ещё девчонка высокая – нет, не сильно меня моложе – с юной собачиной – девочкой голдена, – собачина вприпрыжку – поводок пожёвывает – друг другу улыбнулись с собачьей тётенькой.

А у Трокадеро я смотрела с тоской на игрушечных собачек, их там продают вместе со всяким туристским говном – башнями и прочей хренью – они ходят по ас-

фальту и попискивают – ну как же можно продавать механических, которые пищат?..

Карусель «морды все к хвостам» – а я вспомнить не могу, маму мы покатали? Ей же так хотелось... Важные вещи из головы вылетают.

Я очень быстро иду, я обогнала женщину с собакой, но мы опять встретились на переходе набережной. Ждали зелёного. И собачина расселась разлапо и даже почесаться успела, пока дали свет.

А в Сене три лебедя на чёрной воде у спуска, где, помнишь, как-то летом лабрадор в красном платке плавал за палкой?, – такие белые чёрной вечерней февральской ночью.

Но что жаловаться на февраль – не бесконечный январь он – и уже мы выиграли по крайней мере час света...

Если теперь лебеди, как тут собак плавать пускать?

На нижней набережной, уже сколько-то лет как пешеходной, что-то в двух едальных киосках жарят на открытом огне – костры вверх лезвиями тонкого пламени.

И приручивший меня Париж обнимает-окутывает, бормочет в ухо – такой же, как двадцать лет назад, такой же как под дождём у Кайбота, под фонарями у Писарро...

Літературно-художнє видання

Олена Кассель

МІСЦЕ ЖИТТЯ

Вірші в тексті Василя Бетакам

російською мовою

Макет В. Вітвіцька

Підписано до друку 19.09.2019 р.

Формат 60×84/16. Папір офсетний. Гарнітура Cambria.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 13,83. Наклад 50 прим.

Зам. № 0710/1.

Надруковано у друкарні «Апрель». ФОП Бондаренко М.О.

65045, м. Одеса, вул. В.Арнаутська, 60

т. +38 0482 35 79 76

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців ДК № 4684 від 13.02.2014р.



На всех нас страны, где мы живём, несомненно, оказывают огромное влияние. А в силу того, что возникли площадки для общения, в том числе с незнакомыми в реале людьми, начал складываться странный географически разбросанный этнос: русские американцы встретились с русскими французами, с русскими израильтянами, русскими немцами, итальянцами, канадцами, швейцарцами, австралийцами, англичанами... А любопытная социологическая тема – влияние среды обитания на человека, поменявшего место жительства... Возникновение этноса вне географии – по языковому и происхожденческому принципу...

Что ж – сбылось больше, чем обещалось...

Только сколько ни кричи: «Остановись, мгновенье»...

